

ISSN 2221-9331



Литературно-художественный журнал
Харьковского отделения Союза писателей России

Том 12
2012

ХАРЬКОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ганичев В.Н. — председатель Правления Союза писателей России, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель главы Всемирного русского народного собора, вице-президент Международной славянской академии, доктор исторических наук, профессор.

Котькало С.И. — сопредседатель Союза писателей России и Духовно-просветительского центра имени святого праведного Феодора Ушакова. Член бюро Президиума Всемирного русского народного собора.

Скворцов К.В. — секретарь правления Союза писателей России, действительный член Петровской академии наук и искусств.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Председатель — А. Г. Романовский

Главный редактор — Л. И. Мачулин

Редакция не ведёт полемику на страницах издания.
Переписка с читателями по усмотрению редакции.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Адрес для писем: а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.

e-mail: editor01@list.ru
тел./факс +38 (057) 700-40-25

ЛИТЕРАТУРА, АССОЦИАЦИЯ, СУДЬБА...

В стремлении познакомить своих читателей с лучшими образцами современной русской литературы редакция журнала «Славянин» постоянно расширяет границы авторской географии. В данном номере представлено творчество огромного региона Российской Федерации, который в условиях глобализации культуры стремится к сохранению своей самобытности. О том, чем сегодня живут писатели Урала и Сибири по просьбе редакции поэту и историку Андрею Расторгуеву рассказал координатор Ассоциации писателей Урала, сопредседатель Правления Союза писателей России Александр Кердан.

— *Что, Александр Борисович, по-твоему, так долго удерживает Ассоциацию писателей Урала в живом состоянии и даже позволяет ей мало-помалу развиваться?*

— Знаешь, Андрей Петрович, чтобы дать верный ответ на этот вопрос, надо вернуться ко времени создания Ассоциации и даже к моменту, когда мы с Владимиром Блиновым и другими коллегами вынашивали идею о ней, то есть к началу 90-х годов прошлого века (во, как звучит!)...

Напомню: ситуация в отечественной литературе и вокруг нее была тогда аховая. Распад единого писательского союза на два крупных, враждующих друг с другом, и целый ряд мелких союзиков и литобъединений, живущих по своим собственным правилам, со своими эстетическими установками или вовсе без них... Отсутствие государственной поддержки книгоиздания и творческих организаций в Москве и на местах. Выселение писательских союзов из Домов писателей, разбазаривание собственности бывшего СП СССР. Вольное или невольное самоустранение центральных правлений СПР и СРП от выработки стратегии развития литературного процесса в стране. Разрыв межрегиональных писательских связей. Бедственное существование писателей, не сумевших приспособиться к новым рыночным отношениям... И так далее, и тому подобное.

Анализ сложившегося положения дел в русской литературе и неготовность смириться с ним привели нас к

необходимости создания Ассоциации писателей Урала в ноябре 2000 года. Замечу, что сам процесс принятия этого решения был непрост и занял где-то лет пять... Были среди руководителей союзов активные противники подобного объединения. Кто-то из непонимания, кто-то из зависти, кто-то просто из нежелания поступиться ролью «самого главного» в местном писательском сообществе...

Но именно жизненная необходимость создания подобной межрегиональной структуры, поставившей перед собой цель объединить здоровые писательские силы, сшить разорванное литературное пространство, выработать общую стратегию деятельности писательских сообществ региона в новых условиях, и придала ей жизнеспособность на первом этапе. После того, как первые пять организаций, вошедшие в АСПУр, почувствовали вкус совместной работы, результативность первых, успешно проведенных конференций, всеуральских совещаний молодых, церемоний вручения Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, заявили о себе не только в регионе, но и в России, к нам в Ассоциацию потянулись соседи. Сегодня мы объединяем 22 республиканские, краевые, областные писательские организации Урала, Поволжья и Западной Сибири. Приток новых писательских сообществ, с новыми идеями и наработками, обогащающими всех членов АСПУр – еще одна причина её жизнестойкости.

Третья причина – человеческий фактор. За 12 лет жизни Ассоциации сложилась талантливая, дружная команда единомышленников, которым небезразличны судьбы России и отечественной словесности. И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов авторитет, который Ассоциация приобрела за прошедшие годы и который сегодня работает на нее.

Время доказало правоту избранного нами курса. Сегодня по примеру АСПУр ищут пути к взаимодействию СПР и СРП. Международный литфонд (опять же по нашему примеру) провел совещание молодых писателей (на счету Ассоциации таких семь!), руководители упомянутых союзов признали, что мы есть (не случайно, я и Арсен Борисович Титов – сопредседатели центральных правлений писательских союзов). У нас сложились добрые, партнерские отношения в вопросах духовно-нравственного воспитания с аппаратом Полномочного представителя Президента России в УрФО, с администрациями губернаторов многих субъектов РФ в Приволжском, Уральском, Сибирском федеральных округах. Это, вне всякого сомнения, ещё один важный атрибут устойчивости нашей Ассоциации.

— Для региональных руководителей «старой школы» поддержку писателей и их выездов, форумов и т.п. можно назвать естественным если не порывом, то следствием понимания роли, которую играют культура вообще и литература в частности в жизни человека. Однако в руководящие кабинеты приходят новые люди — более молодые и, чего греха таить, циничные. Удастся ли налаживать контакты с ними? Если да, то благодаря чему? Какие аргументы воздействуют на них?

— Частично на твой вопрос я уже ответил. Что касается «старой» и «новой» чиновничьей гвардии, то и тут не все так однозначно. Встречаются понимающие и непонимающие люди и среди первых, и среди вторых. Например, молодых чиновников — государственников, державников по своему образу мысли мы не так давно видели с тобой в твоём родном Магнитогорске. Взять хотя бы Александра Логинова — начальника городского управления культуры. Или, скажем, Елена Безрукова, исполняющая обязанности начальника Департамента культуры Алтайского края. Наполнили меня оптимизмом и встречи с Губернатором Кировской области Никитой Белых...

И Белых, и Логинов, и Безрукова — люди новой формации, но понимают роль литературы в деле возрождения России, ибо сами являются патриотами. И такие люди, поверь мне, есть в любом российском регионе. Как их найти? Помнишь легенду, как Диоген днём с фонарем бродил по городу и на вопросы любопытных, что он делает, отвечал: «Ищу человека». Так вот и нам сегодня днём с огнём приходится искать единомышленников...

Где-то срабатывает случай, где-то жизненный опыт и старые комсомольские, армейские контакты... Бывает, что сначала делаешь общее дело, потом обретаешь в новом партнере друга и соратника на долгие годы. Так было с Вячеславом Погудиным из Нижнего Тагила, с Юрием Гаркулем из Каменска-Уральского... Ищите и обрящете, как сказано в Писании. А ещё — у Льва Толстого в «Войне и мире» есть про то, что, если злые люди на земле объединяются, то и добрым людям надобно объединяться во имя света, во имя будущего России.

Это, хотя и кажется выпреним изречением, на самом деле и есть тот самый аргумент, которым надо воздействовать на представителя власти. Это — своего рода лакмусовая бумажка: действует, значит, можно сотрудничать с этим чиновником и делать добрые дела; не действует —

оставь надежду всяк, в сей кабинет входящий... Словом, совет один: ищите человека!

– Скажи прямо: в Москве, в руководстве двух писательских союзов, региональные организации которых входят в АСПУр, сильно ревнуют?

– Я бы не называл это ревностью. Вначале, конечно, некоторое непонимание, что такое Ассоциация, для чего она создана, у коллег в Москве присутствовало. Думаю, был некий страх, раздуваемый недоброжелателями – не очередная ли это попытка расколоть писательское сообщество? Не скрою: тогда, в 2000-м, кое-какие горячие головы предлагали нам сразу создать свою приемную комиссию, выдавать собственные членские билеты Ассоциации...

Я стою на твёрдой позиции: мы объединяем профессиональные организации Союза писателей России и Союза российских писателей, и никаких других членских билетов нам не надо. Если посмотреть на проблему шире, вообще-то отношение столицы и регионов – вещь сложная. И никуда от того, что есть Москва, и есть остальная Россия, не денешься. Но ведь Москва без России не может быть Москвой. Равно и Россия без Москвы, без столицы, тоже не обойдётся. Это касается и политики, и экономики, и наших писательских проблем.

Ассоциация создавалась как структура, компенсирующая нехватку столичного внимания к региональным писательским организациям, но вовсе не в противовес центральным органам наших союзов. Повторю еще раз: АСПУр возникла в силу необходимости и существует, пока необходимость в ней не отпала, пока сама АСПУр способна выполнять стоящие перед ней задачи.

Возможно, наступит время, когда Ассоциация писателей Урала, Сибири и Поволжья будет не нужна, и тогда её (по решению конференции – так записано в нашем Уставе) не станет. Но пока она находится в расцвете сил, идей и планов. Мы дружно работаем вместе с нашими московскими коллегами из обоих творческих союзов в одном направлении: сохраняем русский язык, традиции отечественной словесности, помогаем молодым писателям встать на крыло, издаем новые книги, учреждаем и вручаем новые премии... Нам делить нечего – значит, и ревновать ни к чему. Уверен: это прекрасно сознают и понимают и Валерий Николаевич Ганичев, и Светлана Владимировна Василенко.

– Убежден сам и наверняка согласятся многие из знающих: АсПУр во многом держится на энергии и подвижности своего координатора. Где черпаешь собственные силы?

– За добрые слова благодарю. А силы? Как сказано у Шекспира: моя любовь, как ширь морская: чем больше отдаю, тем больше получаю... Искренне верю с давних пионерских, комсомольских времён и до сих пор, что работать на общее благо, на важную для многих идею – это вовсе не потеря себя, а напротив – обретение новой энергии, вдохновения, радости и осмысленности бытия.

– Как удается сочетать работу, говоря современным языком, менеджера и творчество? Где и когда пишешь – в поездах и гостиницах?

– Ну, менеджером я себя не считаю, даже говоря современным языком. Менеджер-то за свою работу получает деньги, а моя общественная деятельность, как это ни странно для многих выглядит, материального дохода не приносит. И все же, АсПУр – это весомая и значимая часть моей жизни на протяжении уже двенадцати лет. И литературное творчество – неотделимая часть судьбы. Уже давно понял, что не получится прожить без одного и без другого... Вывод напрашивается сам собой: надо соединять творчество и организационную работу.

Определенный опыт такого соединения накопил, служа в армии (а это почти 27 лет жизни!). Тогда стихи писал в командировках: в самолетах, в поездах, даже в тряском УАЗике, в перерывах между стрельбами, караулами и дежурствами, прозу – в отпусках... Возможно, именно это армейское прошлое, приучило не особенно обращать внимание на внешние обстоятельства в которых протекает творческий процесс: есть у тебя рабочий кабинет или нет, много в запасе времени или цейтнот... Иными словами, мне оченьгодились навыки чёткой, военной организации труда, умение использовать любую возможность и обстановку, чтобы записать промелькнувшую мысль, пришедшую вдруг идею... И, конечно, самодисциплина и целеустремлённость, помогающие доводить начатое до логического завершения. И, как ты правильно заметил, помогают – поезда, самолеты, гостиницы...

К сожалению, после выхода в запас, отпусков не осталось. И всё же, как-то ещё умудряюсь писать историческую прозу

и стихи между командировками и организацией ассоциативных дел. Когда всё валится из рук, выручает совет моего учителя, писателя-фронтовика Александра Маурова: хочешь написать быстро – не торопись, и тогда всё непременно получится.

– *Над чем творческим работаешь сейчас?*

– Начал работу над историческим романом «Звёздная метка». Роман продолжает серию книг о Русской Америке и посвящен драматическим событиям продажи нашей Аляски Северо-Американским Соединённым штатам (тогда они назывались именно так). Эпоха очень интересная, дающая много исторических аналогий и, если так можно сказать, уроков нашим с тобой современникам – не повторить бы ошибок прошлого. И, конечно, пишу стихи, пока Господь подаёт...

– *А читать коллег успеваешь? Что в последнее время показалось особенно интересным?*

– Прочитал очень много в этом году. Это и традиционный отбор стихов и прозы для альманаха «Чаша круговая», и рукописи молодых для международного совещания в Каменске-Уральском. И работа в двух редколлегиях – «Библиотеки семейного чтения» (пять томов) и «Антологии ямальской литературы» (четыре тома)... Сейчас в роли члена оргкомитета Литературной премии Уральского федерального округа приходится читать книги, поступающие на конкурс. Интересных произведений много. Из того, что прочитал в последний месяц, запомнились: роман Сергея Трахимёнка из Минска «Чаша Петри или Русская цивилизация: генезис и проблемы выживания», повесть Ивана Евсеенко из Воронежа «Работник», новые книги стихов Юрия Перминова из Омска и Бориса Бурмистрова из Кемерово, замечательный том литературных портретов «Какая красивая эпоха» Анатолия Омельчука из Тюмени... Список можно продолжить. На самом деле, не оскудела земля российская на таланты...

– *Как ты относишься к своему 55-летию? Красивая цифра? Значимый рубеж?*

– Юбилей – это просто повод собрать вместе тех, кто тебе дорог и в очередной раз признаться им в любви. В этот день

все душевные порывы воспринимаются естественным образом и пафос не является ложным. Кикабидзе пел, что «мои года – моё богатство». Я убеждён, что моё главное богатство – это мои друзья. Искренне надеюсь в этот день встретиться со многими замечательными людьми, чью верную дружбу подарила мне армия, общественная работа, и, конечно, наша Ассоциация...

– *Обладает ли, по-твоему, сегодняшняя литература, создаваемая в Поволжье, на Урале и в Сибири, собственным голосом? Насколько он звучен и о чем говорит?*

– Безусловно, обладает. Сегодня на огромном пространстве от Алтая до Республики Коми, от Ямала до Оренбурга живут и трудятся десятки талантливых прозаиков и поэтов разных поколений, разных эстетических направлений. Здесь и почвенники: прозаики – Виктор Потанин, Арсен Титов, Петр Краснов, Николай Коняев, Сергей Козлов, Александр Родионов, Станислав Вторушин, Сергей Бузмаков, Зоя Прокопьева, поэты – Борис Бурмистров, Николай Година, Нина Ягодинцева, Татьяна Четверикова... И литераторы, тяготеющие к постмодернистскому взгляду на мир: Виталий Кальпиди, Николай Шамсутдинов, Юрий Казарин, Игорь Сахновский, Евгения Изварина, Евгений Касимов, Александр Поповский... Наши замечательные и столь не похожие друг на друга краеведы – Анатолий Омельчук, Кирилл Шишов, Василий Быковский... Я не говорю уже о национальных писателях: Еремее Айпине, Марии Вагатовой (Волдиной), Юрии Вэлле, их коллегам из Республики Коми и Удмуртии...

При всей разности творческих взглядов и изысканий уральцам и сибирякам, мне кажется, присущи черты особой ментальности. Я бы назвал это «взглядом с горы» (даже если автор живет в тундре, он всё равно смотрит на окружающий мир как бы с некой высоты, позволяющей видеть дальше и зорче). Может быть, именно поэтому литературу региона отличает философичность, попытка проникнуть в суть, в глубь явлений. Это тоже от горной ментальности.

А ещё – бажовская «живинка в деле», попытка рассказать об увиденном по-своему. Не этим ли объясняется и большое число разных литературных школ в регионе? Скажем, есть школа Майи Никулиной, школа Венедикта Станцева, школа Татьяны Четвериковой... Сегодня можно сказать уже и о школе Юрия Казарина, и о литмастерской Нины Ягодинцевой.

Говорить же о каких-то особых темах региональной литературы мне представляется некорректным. Ибо тема у писателей всегда одна – разговор с Вечностью. Как тут не вспомнить блистательного Алексея Решетова: «Зачем, поэт, словарь толковый/ Такой большой тебе иметь?/ Нужны всего четыре слова:/ Земля и Небо. Жизнь и Смерть...» Вот об этих вечных ценностях и пытаемся напомнить нашим современникам и соотечественникам.

– Ты считаешь, что литература может снова упрочить свое общественное значение? Как и за счет чего?

– Ты знаешь, Андрей Петрович, я – социальный оптимист, как бы ни поворачивала реальность к другому, противоположному взгляду на современную литературу и её будущность в российском социуме. Говорить за всю отечественную словесность дело трудное и неблагодарное. Но всё же попытаюсь, сославшись на наш, региональный опыт.

Первое, конечно, воспитание читателя. Это невозможно сделать, если литераторы не объединят усилия с воспитательными и образовательными институтами: со школами, вузами, с объединениями многодетных семей, с Русской Православной Церковью... Без привития любви к чтению в семье, в школе (где необходимо добиваться восстановления в школьных программах регионального компонента русской литературы, возвращения литературы в число обязательных предметов, вынесения её за рамки ЕГЭ) мечтать о возрождении общественно значимой позиции российской словесности просто бессмысленно.

Ассоциация писателей Урала предпринимает ряд шагов в этом направлении. Скажу только об одном из них – под патронажем Губернатора Свердловской области мы начали выпуск многотомной «Библиотеки семейного чтения», которая должна стать верным компасом в мире книг для многодетных семей, учеников и воспитанников интернатов, детских домов, школ Свердловской области. Оформлены первые три тома рисунками учащихся художественных школ региона. Они тоже получают книги в подарок. И, уверен, непременно прочитают их сами, сохраняют в своих библиотеках, будут в будущем читать своим детям.

Второе – активное позиционирование писательских союзов и объединений в своих регионах, в СМИ. Если ничего не делать, а только жаловаться на судьбу, то о литераторах и знать не будут, и быстро забудут, даже если до этого знали.

Яркий положительный пример такого позиционирования – деятельность Алтайской краевой писательской организации. Здесь ежегодно проводятся 17 литературных чтений, которые проходят не только в Барнауле, но и в районах края. Причем обязательно об этом пишут в газетах, организуют передачи по телевидению и радио.

Третье, может быть, самое главное – создавать хорошие книги, повышать требовательность к художественному слову, всеми средствами отстаивать настоящую литературу в противовес массовым поделкам. Для этого необходимо возрождать практику обсуждения новых книг в писательских организациях, сделать обязательным публичное представление лучших произведений читателям, выдвигать эти книги на премии, а при необходимости – инициировать такие премии, которые могли бы повысить общественную значимость писательского труда. Примеры – учрежденная нами совместно с Ханты-Мансийским банком под патронажем Полномочного представителя Президента России литературная премия Уральского федерального округа, Всероссийская литературная премия имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева, учрежденная совместно с администрацией Екатеринбурга, Сибирско-Уральская литературная премия, которую учредили омские писатели вместе с московским ОТП-банком.

Значимым в этом направлении станет и возрождение столичной и региональной литературной критики. Тут не могу не сказать об электронном издании вашей совместной с Ниной Ягодинцевой книги критических статей о литературе Урала, Севера и Западной Сибири. Это крайне своевременная и полезная книга!

И, конечно, престиж современной литературы невозможно поднять без взаимодействия с властными структурами. Меня не раз упрекали за подобные высказывания. Но я не вижу в подобном социальном партнёрстве ни ущемления писательских свобод, ни отказа от права писателей прямо говорить власть предержащим о недостатках, которых вокруг немало. Вместе с тем если мы, русские писатели, не станем говорить представителям власти о необходимости поддерживать отечественную словесность, вырабатывать государственные книгоиздательские программы, если не станем принимать участие в этой работе, то и впредь на встречи с руководителями государства будут приходить изготовители литературных поделок, а творческие союзы – оказываться на обочине культурной жизни...

Поиск точек взаимодействия, конечно, зависит от местных условий, от того, что за руководители возглавляют тот или иной регион или региональную культуру и, в конечном счете, от инициативы самих писательских организаций. Есть замечательные примеры, когда наши писатели являются советниками губернаторов в своих регионах (Владимир Усманов, Василий Быковский, в недавнем прошлом – Борис Бурмистров), депутатами областных, окружных, городских дум (Евгений Касимов, Александр Овсянников, Еремей Айпин, Дмитрий Мизгулин). Находясь непосредственно во власти, они многое делали и делают для повышения роли литературы в общественной жизни. Недооценивать такой потенциал сегодня – непозволительная роскошь.

– *Что бы ты пожелал читателям литературно-художественного журнала «Славянин»?*

– Только то, что желаю и самому себе: мира, здоровья, творчества, любви, новых книг и новых интересных встреч с коллегами и читателями.

ПОЭЗИЯ

Андрей РАСТОРГУЕВ

РОССИЯ

К ночному исходу, когда мы невольны и слабы,
на звездную россыпь в небесной дали посмотри:
Большая Медведица встала на задние лапы,
ища на востоке приметы грядущей зари.

Над лесом и степью, над Волгой, Печорой и Обью
за темную ночью опять наступает рассвет.
Россия всегда на любовь отвечает любовью,
хотя за ветрами не каждому слышен ответ...

Икона, звезда или птица на месте почетном —
нанесшая и залечившая множество ран,
Россия всегда на распутье меж белым и черным,
от моря до моря бездонный сама океан.

И пламя займется, и сердце сильнее забьется,
и станет яснее дорога, увидишь когда
Медведицу Малую — ковшик над краем колодца,
откуда струится на землю живая вода...

* * *

Александру Кердану

То сажей мазнём, то мелом,
то на слово, то — на вкус...
Меж Чёрным лежит и Белым
давно корневая Русь.

Но, чуя иные краски,
расправились корни и —
метнулись аж до Аляски
и до Калифорнии.

Да снег оказался хрустким,
да краешек окаян.
А то бы назвали Русским
не море, а окиян.

И не заживает рана...
Да не засыхает плод:
никто теперь океана
нерусским не назовет.

* * *

Ни заплатами, ни латами
наших дыр не залатать...
Возле города Алатыря
слезы точит Божья мать.
Пробиваются бегучие
из подземной глуботы,
не горячие — горючие,
холодны до ломоты.
И приходят, и купаются
люди грешные в воде,
и грехи их искупаются
по молитве и беде...
Так в земле моей и водится
с Покрова до Покрова:
пока плачет Богородица,
моя Родина жива.

* * *

Надежде Мирошниченко

Не упрекну не улыбчивой родины,
где что ни модная блажь — то всерьез.
Жаль только нынче цветы у смородины
напрочь спалил неурочный мороз.

Жалко, что рытвины, раны и ссадины
все заровнять — залечить не могу.
Листья зеленые, как виноградины,
белою ночью на белом снегу.

Малая, новая, красная, белая —
плотью изрезана, сердцем цела.
А на соборах, как ягоды спелые,
гроздьями собранные купола.

Им, словно ягодам, мы и поклонимся,
одолевая душевную жуть,
и до земли, как до неба, дотронемся,
и успокоимся: вот она, есть!

* * *

Не сгнула Берлинская стена —
на срок недолгий развоплощена,
она передвигается к востоку
и приминает польскую осоку.

А на краю пустыни и полыни
ещё переминается доньне
неистребимой силою полна
Великая Китайская стена.

И замирает сердце. Но едва ли
они сойдутся грудью на Урале,
покуда не растрескает пырей
кремлей, острогов и монастырей,

покуда от днепровского истока
до крепостных фортов Владивостока
среди государей и пустырей
земле достанет умных трударей...

* * *

И смиренные, да гордые,
ярость ведая и срам,
мы распяты на Георгии
по морям да по горам.
Посреди долины ровныя,
упираючи рога,
не зацепишься за кровное —
разве что за берега...

* * *

Земля едина,
и вода едина,
по воздуху не проведешь межу,
однако две незримых половины
во всем я неизменно нахожу.
Всё надвое.

Что одному — бессмыслица,
То для другого —
истины святей...
Две родины —
кормушка
и кормилица
сосуществуют
на земле моей.

* * *

Если родинок не содрать —
о смородине порадей...
Если Родину не собрать,
соберу дорогих людей.
Жалко, многим наверняка
не добраться издалека —
по изгибу материка
она всё ещё велика...

* * *

Найду себя на древе родовом —
ничем не знаменитом, рядовом,
раскинутыми по ветру ветвями
со многими сплетённом деревьями.

Стоят они в снегу или в росе,
как тополя на лесополосе,
а если надо Родине иначе —
как линии электропередачи.

За далью лет смыкаются века,
но твердь земная все еще зыбка.
Не обретя и слабенькой одышки,
уже и сам я вязну по лодыжки...

Пока слышна опавшая листва,
рисую родовые деревья,
чтоб мой отросток в шуме ветровом
нашёл себя на древе мировом.

ПРОЗА

Арсен ТИТОВ
ПЕХОТА СЕРЕГА АКСАКОВ*Маленькая повесть*

1

Были времена, когда как-то Серега прямо спросил заместителя командующего округом по вооружению генерала Н.:

— Вы почему кефира не кушаете? Что? Не любите? — и просверлил его своим добрым васильковым взглядом.

Серега восторженный человек. Такие жили в девятнадцатом веке и после спектакля носили актрисочек на руках или впрягались в их тарантасы, то есть кабриолеты, ну, то есть экипажи, а когда чести быть впряженным не доставалось, бежали экипажу вослед и считали себя совершенно счастливыми.

Были еще времена, когда комполка Седов сказал Сереге:

— С прибытием! — плеснул всю кружку в рот и спросил: — А еще что-то есть?

— Есть, — сказал Серега. — Есть, но не дам!

— То есть, как не дашь? — поперхнулся комполка Седов.

— Так. Не дам! — сказал Серега.

Восторженный человек Серега и скрупулезный. Возьмется делать — пропало, если кто-то собрался его подождать. А если не подождать, тогда, как он выражается, по фиг мороз, то есть можно не вздрагивать, дело будет сделано обязательно и самым тщательным образом. Где нужны тщательность и скрупулезность? По сути — везде. Вот авианаводчики, штатные штурманы наведения авиации, сокращенно «шешена» и далее производное от этого — «на шиша». Если кому-то на них везло, то дай Бог и впредь по жизни идти рука об руку с везением. А вообще кто-то еще помнит, как с трибуны Первого съезда Советов великий Сахаров занялся не великим делом обвинять вояк, что у них в Афгане бывали случаи, когда авиацией долбили по своим и якобы с целью добить, чтобы не попали в плен. Со своей водородной бомбой уважаемый ученый был повесомей всей 40-й армии — ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Но в данном случае уважаемый ученый явно

говорил не свои слова, а если и свои, то они не украшали его, как мыслителя и охранника истины, каковым его определенные круги пытались сделать. Володя Ломаков с Первой чеченской, кроме всего прочего, принес случай, когда свой командир сдал боевикам едва не роту спецназа. То есть не сам сдал, но все сделал, чтобы сдать. Об этом бешеной собакой лаяла вся так называемая независимая пресса. А Володя Ломаков рассказал, как было на самом деле. Тридцать первого декабря девяносто четвертого на вертушках выбросили в горы за Грозный две группы армейского спецназа с задачей наводить авиацию и артиллерию на боевиков, которые, по замыслу высоких сфер и лично Паши-мерседеса, пребывающего у Ельцина в военных заместителях, должны были первого января побежать из Грозного в горы. Как подготовили операцию по взятию Грозного, естественно, так же подготовили и эту — просто выстроили бойцов, отлаiali в качестве напутствия, а потом выбросили не в том месте, карты дали не того района да и те изданы были еще в семьдесят шестом году. Трое суток отряд шарашился по горам, был обнаружен, командир запросил, как следует в таких случаях, эвакуацию, а в ответ получил: «Продолжать задачу!». Сырые, промокшие, не спавшие, не жравшие, несколько раз безуспешно запрашивая эвакуацию, шарашились они еще трое суток и влипли. Позор, конечно, всему спецназу, у которого, по образному выражению, войска тесные, а руки длинные! Но позор именно всему спецназу — не только этим парням, но и всем, кто их готовил, кто их все эти шесть суток, по сути, сдавал, кто вообще довел армию до такого. А если конкретно по этому случаю, то сдавал их начальник из высоких сфер. Он кричал: «Этот трус хрен у меня получит эвакуацию! Он воевать не хочет! Он жить хочет! Так он у меня поживет!»

Вот такая начиналась война. И такого во времена Афгана не было. Дурости было много. Подлость тоже была — но не такая. До такой подлости надо было дорасти. Было, что и по своим били. Было, что и на своих минах подрывались. У Сереги в январе восемьдесят четвертого подорвался на нашем же старом, так сказать, неучтенном минном поле командир седьмой роты. Это война, товарищи.

Вернуться к тем же авианаводчикам, к «шешена». А, нет. Еще вот что. Леша Сурков, прапорщик товарищ Че, вспоминал начало своей второй войны в августе девяносто девятого. Перед отправкой отряда всю территорию бригады оцепили вэвэшниками, внутренними войсками. Видимо, высокие сферы высоким своим умом прикинули, что не

оцепи спецназовцев, так при известии о войне они разбегутся. Еще войны не было, а людей уже оскорбляли, подозревая в них не воинов, а трусов. И посадили в Кольцово личный состав без боезапаса, мол, все это будет в Махачкале.

— Сначала предупредили, что вооружаться будем на плацу! — рассказывал товарищ Че. — Потом сказали, что получим боеприпасы в Кольцово. Там объявили, что боезапас в самолете, а потом вообще сказали, что получим его только в Махачкале. А откуда мы знаем, что там творится, может быть, уже весь Дагестан у боевиков в руках, и халифат плещется от моря и до моря. Прилетели. Сидим. Идет к нам некто амбал размером восемь на семь, бородатый, весь в пулеметных лентах, разгрузках, с портативной рацией, в бандане и обрезанных перчатках, наколенниках и только что не агеес, не гранатомет в руках держит. У нас в брюхе обрыв — ну, все, не успели прилететь, а уже попали в плен! Я Грише говорю. Он пулеметчик. И ему по инструкции всегда из рампы первым выныривать. Он смотрит на меня. Я ему говорю: «В случае чего бей прикладом по башке — уже хоть чем-то разживемся!» Подходит: «Слишь, где командир?» — А Гриша ему: «Слишь, иди ты на фиг!» — вместо последнего трехзвучного слова Гриша, конечно, сказал другое трехзвучное. «Иди ты на фиг!» — сказал Гриша и свой пустой пулемет поухватистой перехватил. Тот опять: «Слишь, сколько народу прилетело?» — Я Грише моргаю, мол, ахай. И, слава Богу, вижу краем глаза — несется по полю наш мужик, белобрысый и не в камуфляжке, как все ходят, а в парадке, в парадной форме. Несется и орет: «Давайте ваш посадочный!» — В брюхе сразу все на место вернулось.

И вот теперь — о тех «шешена», которые «на шиша». И на шиша они потому, что так к их обучению относятся высокие начальнические сферы. По программе сухопутного офицера, в том числе и спецназовца, в авианаводчики надо готовить около трех месяцев. А начальники сводят эту программу к трем дням. И результат такого обучения, как говорится, не заставляет себя ждать. То вертушку заведут по ветру и угробят, то не на ту цель наведут, потому что видеть с земли и видеть с неба — это, как говаривал покойный комвзода Виталик Селезнев, две сугубо другие альтернативы; то, пока между собой о чем-то наконец договорятся, уже и помогать не надо. Язык летунов, кто в небе, и язык ползунов, кто на земле, слишком не похожи друг на друга.

У Сереге было.

Была армейская операция по очистке Вальянского ущелья. По двум хребтам надо было к определенному времени выйти

в заданную точку в верховьях ущелья с тем, чтобы не дать духам из ущелья уйти, когда в ущелье начнут входить основные силы, в том числе и афганские подразделения. В один из моментов вертолетчики вдруг докладывают:

– Видим палатки и все прочее, похоже на лагерь духов!

– Координаты! – запрашивает Серега.

– Справа, правее по ходу, а вам прямо по ходу лагерь духов! – снова кричат вертолетчики.

– Координаты, мужики! – просит Серега.

И тут из штаба полка – вертушкам:

– Поработать!

Вертушки: есть! – и на боевой заход, отработали и сваливают.

Комполка Седов – Сереге:

– Комбат! Проверь!

Серега – ему:

– Шестьдесят второй! – это позывной комполка. – Шестьдесят второй! Я не наблюдаю никакого лагеря, не наблюдаю никакой работы вертушек!

Комполка Седов:

– Я тебе говорю, комбат, квадрат такой-то! Проверить результаты авиаудара!

Серега:

– В этом квадрате я не наблюдаю никакой работы вертушек Я не могу послать туда людей!

И вдруг замполит седьмой роты Серега Войтенко с левого фланга – вся связь же в сети полка – вдруг Серега Войтенко со своим комсомольским задором вмешивается в разговор:

– Шестьдесят второй! Я видел, как вертушки работали! Я наблюдаю лагерь. Разрешите, я проверю!

Серега:

– Я запрещаю!

Комполка Седов – через голову комбата Сереги:

– Я приказываю!

В общем, чтобы долго не морочиться, сыр-бор разгорелся потому, что один говорил про Фому, другой про Ерему. И замполит Серега Войтенко с отделением по приказу комполка Седова пошел – и, разумеется, влип. И если бы начштаба батальона Миша Глухарев не записывал все команды, комбату Сереге пришел бы самый настоящий кирдык.

Вот что такое – когда нет нормального этого самого штатного или хотя бы нештатного штурмана наведения авиации, то бишь авианаводчика.

А еще было, как говорится, в то же самое время, в том же

самом месте — еще было с батальоном одного из полков той же самой дивизии. Батальон влип, батальон духи, как гусят, расстреливают, а никто в батальоне не догадался вызвать вертушки, хотя в батальоне были и авианаводчик, и наводчик артиллерии.

Все было.

2

Серёгу Аксакова сорвали в Афган прямо со стрельбища. Кто-то отказался ехать. Очень редко, но и такое случалось. Кто-то отказался. Комполка приказал выстроить батальон и перед строем батальона:

— Майор Аксаков! Передать батальон начальнику штаба!

Серёга в полном непонимании поглядел на своего начальника штаба Сашу Лаженцева. Тот с тем же чувством поглядел на Серёгу. А комполка опять:

— Передать батальон начальнику штаба и сегодня же пройти в госпитале медкомиссию. Вы убываете в страну с сухим и жарким климатом!

Прибыл Серёга в один из уголков этой сухой и жаркой страны, а именно в Ташкуртан, как и полагается, при всем параде, о котором говорят: «Сверху шик, а внутри пшик!», переждал, пока осядет пыль от винтов вертолета, и увидел замполита Костю Кравца.

— Товарищ майор, вы на третий батальон? — спросил Костя Кравец.

— На третий, капитан! — сказал Серёга.

— Разрешите доложить, командир батальона в госпитале. Батальон готовится к боевым! Комната в модуле для вас приготовлена, баня натоплена! — доложил Костя Кравец.

— А сколько на термометре? — спросил Серёга.

— Пятьдесят, товарищ комбат! — доложил Костя.

— Зачем же баня? — спросил Серёга.

— С дороги, товарищ комбат, положено! — сказал Костя и уточнил: — Не помешает!

— Понял! — сказал Серёга.

Комполка Седова Валерия Павловича на месте не оказалось. Серёга представился в штабе полка, оформил документы, вышел из штабного модуля, и невольно залюбовался картиной — идет по пояс обнаженный, в сетчатых камуфляжных портах — козорезкой называются — и кроссовках на босу ногу книжный шкаф эпохи готики. За ним скромно, но с сознанием собственной значимости семенит пес. То, что пес редкой породы кабыздох, это сразу

было видно. А вот то, почему он идет с таким значительным видом, это требовало осмысления. Серега осмыслил за секунду. Пошел Серега строевым шагом навстречу шкафу эпохи готики, как положено, два шага не доходя, вскинул руку к козырьку:

— Товарищ полковник! Майор Аксаков прибыл во вверенную вам часть для дальнейшего прохождения службы в должности командира батальона!

Шкаф эпохи готики не удивился пронизательности Сереги, сказал:

— Якши! — и еще сказал: — Твой батальон сейчас на строевом смотре. Через двое суток — на выход. А ты пока давай ко мне. Что-нибудь привез?

Пришли к комполка. У него кондиционер. И он вызывает официантку. Вошла этакая гарна дивчина с Полтавщины. Сереге захотелось сбегать в поле за васильками и ромашками. И будь он у себя, в старом своем батальоне, он бы сбегал. А тут только огладил ее глазами, что, конечно, от комполка не ускользнуло. Она ушла. Серега достал то, что привез, то есть одну из двух разрешенных к провозу через границу бутылок водки. Комполка Седов поставил на стол две алюминиевые кружки. Официантка принесла две гречки с тушенкой и два ломтя дыни. Серега снова проводил ее взглядом, будто преподнес васильки с ромашками. Комполка Седов сказал:

— Их здесь четверо, — посмотрел на Серегу и добавил: — Все расписаны!

— Совершенно потрясающая женщина! — сказал Серега, объясняя себе слово «расписаны» в обиходном значении «расписаны в ЗАГСе» то есть замужние.

— Вот за них и выпьем! — сказал комполка Седов.

Серега плеснул по кружкам. Комполка Седов посмотрел на Серегу:

— Стоп, стоп, комбат! Я не понял! Наливай по-человечески!

— Так ведь жара, товарищ полковник! — сказал Серега.

— И что? — спросил комполка Седов.

— Понял! — сказал Серега и разлил бутылку.

Выпили. Немного, с достоинством, поклевали. Комполка Седов спросил:

— А еще что-то есть?

— Есть, но не дам! — сказал Серега.

— То есть, как не дашь! — не понял комполка Седов.

— Есть еще одна. Но она офицерам батальона, товарищ полковник! — сказал Серега.

Комполка секунду принимал решение.

— Правильно, — сказал он через секунду, достал из сейфа свою, сказал: — Разливай!

Серёга, как и в первый раз, плеснул на дно. Комполка Седов засмурел:

— Мне кажется, ты, комбат, с первого раза ничего не понимаешь!

— Так ведь жарщица, товарищ полковник! — сказал Серёга.

— И что? — спросил комполка Седов.

— Понял! — сказал Серёга и разлил опять всю бутылку на две кружки.

— С прибытием, комбат! — сказал комполка Седов.

Выпили, опять немного поклевали. Серёга встал:

— Товарищ полковник! Разрешите убыть во временное, виноват, во вверенное мне подразделение!

— Отбывай, комбат! — махнул рукой комполка Седов.

— Это вам! — только и смог сказать Серёга у себя в батальоне насчет второй бутылки.

Обещанная Костей Кравецом баня и особенно бочка с холодной водой в бане Серёге очень пригодились.

А потом пошла служба. Был Серёга со своим батальоном единственным на всю провинцию Саманган, драли с него не только шерсть и не только подшерсток, а драли всю шкуру разом. Потому что Серёга отвечал за все. Надо по плану не менее тридцати засад в месяц — Серёга их делал по сорока и более. Надо охранить трубопровод с горючкой, идущий по провинции — Серёга его охранял. Надо колонны с грузом, так сказать, для мирного населения, Серёга сопровождал. Надо выходить на блоки в горы, Серёга выходил. Надо поить-кормить-лечить и агитировать местное население — Серёга поил-кормил-лечил и агитировал. Надо мирить местные банды — Серёга мирил. Но чаще всего батальон участвовал в армейских операциях, порой даже километров за сто пятьдесят от места постоянной дислокации. Армейские операции, как правило, больших успехов не приносили. Духи о таких операциях оповещались заранее и, оставив заслон, уходили. Выматывали эти операции вусмерть. Выматывали своей безрезультатностью и бесполезностью. Серёга своим бойцам доверял. Они у него, как требовал Суворов, маневр понимали. Но порой и сам Серёга не знал, что, куда и как. Кроме его батальона, в провинции была еще масса советников, был отдельный батальон афганской милиции — царандоя. Советники были по партийной линии, советники афганской службы безопасности, советники царандоя, и была милицейская группа разведки. Они все жили отдельно от Серёги, на вилле, и, кстати,

получали денежное довольствие на порядок, то есть в десяток раз больше Сереги, армейского офицера. Они все советовали, они собирали информацию, они разведывали. А работать приходилось Сереге. Играть в военную тайну с личным составом Серега не хотел и считал вредным. У личного состава головы были не только для ношения головных уборов. Потому часто кто-нибудь да подсказывал умное решение. Это при том, что данные всех советников и разведок часто были обыкновенной дезинформацией или ловушкой. Советники и разведчики были при этом, разумеется, не виноваты. Такие данные им поставлялись, потому что у духов тоже были и советники, и разведчики. И еще много духовских засланцев было в рядах афганской армии и афганской милиции. Случаев, когда информация была специально ложная, так называемая деза, было не сосчитать. И, наверно, не сосчитать, сколько на нее ловились.

Не сразу, но Серега дезу научился в большинстве случаев определять. Формула определения была проста.

— К начальству, если оно тут, надо подходить с прикладыванием руки к козырьку за два шага. А если оно не тут, то надо к нему подходить с умом! — гласила формула.

И он еще умел подпустить местным туману, создать ореол провидца. Для дела — очень полезная и нужная вещь. Собирал, например, Серега в кишлаке мужиков на площадь, садился на бэтээр — нога в люк — и начинал мужиков надвое сортировать — этот дух, его налево, а этот мирный, его направо. Отсортировывал исключительно точно. Естественно, молва в провинции быстро обрела очертания — комбат всех насквозь видит! А видеть их насквозь труда не составляло. Серега садил в бэтээр бабая, который зуб имел на местных духов и которому Серега доверял. Бабай в триплекс глядел и, когда показывали духа, он Серегу дергал за ногу. Соответственно Серега прутиком показывал налево.

Банд вокруг Сереги, то есть вокруг Айбака, было более ста. И были крупные, как у узбека Холуада, как у Сайфуллохана или того же Дильмамата, который более трех лет водил всех наших советников за нос, обещая перейти на сторону народной власти, отчего Сереге был приказ его не трогать, он же преспокойненько всех трогал и снова обещал. Грохнул его Серега, чтобы не оставлять заменщику, первого мая восемьдесят четвертого, в последнем своем бою, как сам потом признался, без санкции комполка, и получил награду. Комполка сказал:

— Был бы хоть один двухсотый, пошел бы ты под суд, майор! А так, херачь до хаты, пока я добрый!

Крутился Серега со своим батальоном, дергался в одиночку, пока в провинцию не ввели сто пятьдесят четвертый отдельный мотострелковый батальон Игоря Стодеревского, по-другому, отряд армейского спецназа, позже названный Джелалабадским. Стало полегче. Относительно.

Но это было потом. Принял же Серега батальон и сначала подумал, что над ним, как над новеньким, решили пошутить. Построил он личный состав и начальнику штаба Мише Глухареву:

– Майор, это кто?

Косте Кравцу:

– Замполит, это кто?

Зампотьбу Максиму Сергиенко:

– Капитан, это кто?

Всем командирам и старшинам рот:

– До утра привести личный состав в надлежащий вид!

Постираться, почиститься, подшиться, в бане помыться!

– Свиныю ночь кормить, к утру зарезать, чтобы сало было в семь пальцев толщиной и с прожилками! – буркнул Костя Кравец.

– Как с политической подготовкой? – спросил его Серега.

– Семь пальцев с прожилками, товарищ майор! – сказал Костя Кравец. Он же был боевой, а Серега был никакой, Серега был из Союза.

– Нарастить восьмой и без прожилок! – сказал Серега.

Наросло и срослось с батальоном не сразу, но быстро, после первых же боевых. И Костя Кравец, и начштаба Миша Глухарев, и – ну, все Сереге помогали. Хуже срасталось с начальством.

3

Комвзвода Виталик Селезнев погиб от своей пули. И это было не так, как на съезде пытался внушить товарищ Сахаров.

Виталик был мастером засадного дела и вообще он был прирожденным поисковиком-разведчиком. Он был отчаянным парнем, и у него был нюх. А нюх для разведчика – это все. Человек без нюха не разведчик при всех остальных многих данных. А засады для Виталика вообще были именинами.

По Айбаку протекала речка Саманганка и уходила в Ташкурганское ущелье. Вокруг Айбака, естественно, была зеленка, кишлачная зона. И естественно, кишела эта зона

всякого рода духами, порой наглеющими до того, что начинали обстрел расположение батальона из минометов. Было решено провести полковую операцию. На организации взаимодействия в штабе полка Серега предложил:

— Для того, чтобы духам из Айбака не уйти ущельем, надо его перекрыть. У меня есть боец, прапорщик Селезнев, который знает это ущелье вдоль и поперек. Вы прапорщика Селезнева знаете. Я выделяю группу под его командованием. Вот здесь, в этом узком месте он устроит засаду. Прибудет он туда за полтора часа до начала операции и успеет оборудоваться. Плюс к этому – моя седьмая рота с началом операции выдвинется в непосредственную близость к месту засады с готовностью встретить духов, если того потребует ситуация. И прошу: предупредите всех, что вот здесь, вот в этой точке, будут мои. Они там будут в обязательном порядке. Всякие случайности исключены. Это прапорщик Селезнев. Предупредите всех. И просьба: обойдемся своими силами. Не надо привлекать царандой. Не надо никаких советников. Если без них нельзя, то не надо сегодня их об этом оповещать. Пусть спят. Утром поднимем их по тревоге.

— Да ты что, комбат, охренел, что ли, тут нам командовать! Операцию проводить буду я. Мне и решать, кого и как предупреждать! — побагровел начальник штаба полка.

— Так точно, товарищ подполковник! Но прошу... — сказал Серега и далее опять начал про то, чтобы советников и царандой с вечера не посвящать в план операции, а просто утром поднять по тревоге.

— Вон отсюда, майор! — сказал начальник штаба.

Фамилия начальника штаба полка была схожа с названием одной птички, которая сама по себе птичка и птичка и даже, если научить, то хорошо поет. Но в русском языке название этой птички в переносе на человека принимает уничижительный оттенок или что-то вроде оскорбления — этак: ну ты и... (эта птичка)! Данная вводная — просто к сведению.

В пять тридцать утра Виталик доложил:

— Занял боевые позиции!

В семь утра полк двумя батальонами с флангов и с царандоем в центре пошел. Серега со своим третьим батальоном слева, первый батальон справа. Перед каждым батальоном — инженерно-саперный взвод на бэтээрах. Духи занервничали, но по старинке прикинули, что уйти всегда успеют. Они же не знали, что русло Саманганки, по которому они обычно уходили, на этот раз перекрыл Виталик со своей

группой. И вдруг командир саперного взвода первого батальона орет:

– Наблюдаю духов!

Серёга ему:

– Спокойно, старлей. Я не наблюдаю!

И заорал начальник штаба полка, эта птичка:

– Квадрат такой-то! Духи!

Серёга – ему:

– Там моя группа, товарищ подполковник! Там моя группа, как условились вчера! Я же предупредил! Посмотрите в системе расписания! Там моя группа!

– Иди ты на хрен, комбат! Какая твоя группа! Там духи! Они по нам открыли огонь! – уже блажно заорал начальник штаба полка.

А какой же огонь! Утро. Тишина. Слышно, как бараны в зеленке блеют. Серёга во все горло:

– В этом квадрате моя группа! Предупреждаю всех!

А в ответ истеричное начальника штаба полка:

– Уничтожить! Всем огонь по квадрату такому-то!

И тут же саперы из крупнокалиберных бэтээровских – та-та-та-та-та-та!

У Серёги сердце – кровью. Он:

– Бл..! Прекратить огонь!

И из группы Виталика – радио. Кричит сержант Акаев:

– Комбат, командир группы прапорщик Селезнев убит.

Пулеметчик Петров убит! Принимаю командование на себя!

И словно по команде, по этой стрельбе, духи поперли в русло. И по первому батальону – из гранатометов, по третьему батальону, по капе Серёги – из гранатометов и пулеметов. В бэтээр Серёги попадание. Бак пробит. Горящий бензин – струей. Вспыхнул второй бэтээр. То есть духи саданули по заранее известным им целям. Кто-то их предупредил. А кто предупредил! Серёга же просил.

И начальник штаба полка:

– Ну, комбат! Ты давай тут! Тебе лучше все известно! А я буду на связи с командиром полка!

И свалил.

Серёга знал, что свалит – потому что не первый раз. Так же было в Кокджаре. Первого января восемьдесят четвертого в городе Мазари-Шариф духи похитили автобус с нашими советниками – двадцать восемь, кажется, двадцать восемь человек. Была поднята вся 40-я армия. Каждому подразделению была поставлена определенная задача. Батальону Серёги было поставлено блокировать кишлак Кокджар, на котором сходились три ущелья. Начштаба полка

пошел с батальоном Сереги командиром. Как положено в таких случаях, батальон без брони высадили на горы по сторонам от кишлака с вертушек, а бронегруппа с царандоем пошла своим ходом. Кишлак проверили. Батальон с гор спустился. Пришел приказ возвращаться. Батальон только втянулся на горную дорогу, то есть червяком по ней растянулся, как в этого червяка вцепился местный петух, да так вцепился, что головы от его огня не поднять. Ключнул он плотным огнем с обеих сторон ущелья. Попадание в один бэтээр. Следом еще в один. Танк едва с дороги не сверзился — гусеница пополам. Оттуда доклад — есть двухсотый. Отсюда — есть двухсотый. Там — два трехсотых. Тут — целых три.

Начштаба полка:

— Все бл..! Принимай батальон, комбат! Принимай решение! Я — на связи с комполка!

А как его принять, когда поливают с двух сторон, как дождем. Два бэтэера подбиты, один завалился от прямого попадания гранатомета. Танкисты попытались гусеницу сцепить — а по ним крупнокалиберным тум-тум-тум-тум. И в черепашке у Сереги: «Что? Ну, что?» — И о начальнике штаба полка: — Какого хрена лез! — и следом: — Это на хрен никому не нужно. Отвечаю-то за батальон я! — еще секунда и еще секунда, и еще. И вдруг: — А вот же как и вот как, и вот как! — и в черепашке прояснело. Серега принял решение. Как у товарища Сталина на съезде: «Цели намечены! Задачи определены! За работу, товарищи!» — Так и у Сереги:

— Я командир батальона майор Аксаков! Слушай мою команду!

А на высоте положения был тот, кто тащился в хвосте. Это не восточное иносказание, в котором восточный поэт прославляет того, кто «выводит утреннюю зарю и ночь делает покоем, а солнце и луну — расчислением времени, кто устроил на небе звезды, чтобы человек мог находить путь во мраке суши и моря, кто изводит живое из мертвого и мертвое изводит из живого, кто низвел с неба воду для роста всякой вещи, кто вечен, и всякая вещь гибнет, кроме его лика». Краткое имя ему — Аллах. Таков восточный образ стихотворного мышления. А при упоминании того, кто был на высоте положения, пребывая в хвосте, конечно же, имелся в виду зампотех, заместитель командира батальона по технической части Коля Жаворонков, позывной «Крюк». Его задачей было вытаскивать из-под огня все, что подбито, все, что само передвигаться не может. Из-под огня — это когда в

тебя садят из всего, что имеется на вооружении у противника, в данном случае, у духов, а тебе в ответ даже из табельного оружия для собственного успокоения пукнуть некогда, потому что твоя задача — вывести технику из-под огня. Подбит танк, раскорячился на дороге. Каким-то немислимым образом не срывается в пропасть и обходит его тягач. Выскакивает из тягача боец, конкретно в описываемом случае был прапорщик Усманов. Встает он перед тягачом и командует: «На меня! На меня! Еще на меня!» — чтобы тягач подошел для зацепа тросами. Только и успевает прапорщик пару раз руками махнуть: «На меня! На меня!» — как получает очередь в спину. Водитель тягача видит, что командир упал, вываливается из люка, чтобы его подобрать. Его самого — очередью. А зацепить тросы надо. И тягачом управлять надо. То есть сначала к тягачу пробиться надо. Вот это дело «Крюка», Коли Жаворонкова и его ремонтного взвода.

На разборе же операции — комполка Седов:

— Грамотно по управлению батальоном действовал начальник штаба полка!.. — и далее соответственно тех, кто действовал не грамотно.

Начальник штаба полка пунцует, как юный пионер, впервые нечаянно увидевший краешек бюстгалтера пионервожатой. И вроде не скажешь «Кому война, а кому мать родна!» Так же выходил начштаба на боевые, так же мог схлопотать мину под задницу или пулю в лобешник. Но орденок-то через некоторое время зацепился на груди у него, а не у Сереги, не у комбата Аксакова. Комбату Аксакову вроде не за что было об орденке мечтать. Служить надо лучше. А то вон потери на трубопроводе по шестьдесят тонн за ночь!

— Комбат! — крик из штаба армии. — Ты что, комбат, совсем мышей не ловишь? Ты что, комбат, совсем решил на службу конский с прибором положить? Ты нас совсем за собачий хрен не считаешь?

Серега в ответ:

— Не понял вас, товарищ полковник! — он и на самом деле не понял, за что ему приписывают такие почетные деяния.

— Под трибунал, бл., пойдешь, майор! Он еще не понял! У него потери шестьдесят тонн за ночь, а он не понял! Снимай погоны, майор! — кричит штаб армии.

Первое время у Сереги было по пяти-шести, а то все восемь диверсий на трубопроводе за ночь. Трубу, работу трубопровода обеспечивал трубопроводный батальон.

Перекачивающие станции стояли каждые примерно двенадцать километров. Трубопроводные отделения базировались чаще. Отчаянные были ребята. Ночь, подрыв. Давление в трубе тридцать атмосфер, факел метров на пятьдесят. Им надо все это ликвидировать. Да еще мины на подходе к подрыву духи, уходя, поставят. Им надо ликвидировать. Сереге надо их охранить. Но самое главное – трубу надо от диверсий охранить. Но как трубопроподчики своих на каждый метр трубы не расставят, так и Серега свой батальон вдоль нее не выстроит. Отсюда задача – надо отучить духов от трубы. Очень в этом плане поработал Виталик Селезнев со взводом. И очень в плане добывания сведений от местных поработали замполит Костя Кравец и сам Серега. К концу срока пребывания Сереги в Афгане на трубе в его провинции бывало так, что дня четыре вообще не было никаких диверсий или были один-два подрыва в месяц. Мелкие хищения, когда придет бабай с каелочкой, были. Бабай тихонько дырку пробьет, чомбик в дырку вставит и снова придет ночью, арычок в глине метров на семьдесят от трубы сделает, чомбик вытащит и потом черпает из ямки керосин в жестяные емкости типа наших пайв, с какими на севере за ягодой ходят. Погрузит таких пайв шесть штук на верблюда и понесет в горы или на базар. Усердие Виталика во искоренение диверсий с подрывами таким бабаям стало во благо – тырят себе потихоньку. А из штаба армии:

– Погоны снимем! Под трибунал сдадим! Опять шестьдесят тонн потери за ночь!

Не мог бабай шестьдесят тонн за ночь из трубы выкачать. Местные показывали: «Вон тот утром верблюда повел!» – Но это сто двадцать литров. А штаб армии тычет Сереге в нос, на хребтину ему вешает шестьдесят тонн.

– Виталик, прапорщик Селезнев! – вызвал Серега.

– Понял, товарищ майор! Сделаем! – взял под козырек Виталик и через пару ночей приходит: – Разрешите обратиться, товарищ майор! Вот такие данные! – и выкладывает с десятков случаев, когда офицеры и прапорщики трубопроводного батальона в местных дуканах покупали аппаратуру фирмы «Сони», дубленки, джинсы фирмы «Монтана» и «Вранглер» и прочую атрибутику несоветского образа жизни, для покупки которых разве что всем батальоном Сереги скинуться и то может не хватить. На Родине поговорка: «Если женщина в «Монтане», значит, муж в Афганистане!» А здесь таким, как Серега, на сию «Монтану» – только погляд.

— Так! — схватился Серега за данные.

Ночью Виталик со своей группой за полтора километра до одной перекачки снялся с брони, тихонько подошел — так и есть, заправляются два наливника! Виталик — радио. Серега — ему:

— Блокируй! А я сейчас с дежурной группой и еще кое с кем брить их буду!

Виталик броню подогнал, сходу прожекторами в наливники уперся, поверх их трассером прошел:

— Ложись, сволота, пока сугубо другую альтернативу не показал!

Замкомроты, командир перекачки, прапорщик, несколько духов — вот такой улов. Вот откуда на бабе «Монтана». Один наливник — двадцать кубов, двадцать тысяч афгани. Это в два раза больше, чем Серега, командир батальона Аксаков, получил за два года.

Такая арифметика войны.

К такой арифметике — еще такой деликатный момент.

Война без преступников, без мародеров, насильников, без всего подобного сброда не бывает. Считается, что особенно отличаются в этом отношении армии в период отступления — действует приказ ничего не оставлять и тем самым ослаблять врага, и действует психология, я-де голодный и холодный, я под пулями, а вы тут в тепле врага дожидаетесь! Но сейчас о другом. Сейчас о том, что у духов была масса обмундирования китайского производства — зимние куртки на меху и синтапоне, спальные меховые мешки, одеяла, кроссовки. Все это было легким, удобным, теплым, непромокаемым. У нас же были ватные бушлаты и штаны да сапоги-кирзачи, которые в горах — просто смерть. И как тут не то чтобы соблазниться, как тут не подчиниться инстинкту самосохранения, не прихватить по случаю и куртку, и кроссовки, и спальный мешок или одеяло. И как тут не натолкнуться на мысль о какой-то идеологической, мягко говоря, недоработке. Если уж о русском солдатике мало когда кто заботился из высоких сфер, ибо было всегда в высоких сферах убеждение, что солдатиков «бабы еще народют!», то хотя бы позаботились о себе. В том плане хотя бы позаботились о себе, что в данном случае идеология: «Советское, значит, отличное!» — срабатывает наоборот. «Советское, значит, отличное!» — это в данном случае может обозначать только то, что советское отличается от несоветского в худшую сторону. Вся Красная Армия от рядового бойца до министра обороны быстро просекла, что в условиях Афгана и его горной войны солдатик должен быть

обут в те же кроссовки. Скалолазы, правда, говорят, что лучшей обувью для скал являются наши советские глубокие галоши, которые очень полюбили наши старушки в деревнях, и которые для скалолазания открыл легендарный скалолаз Миша Хергиани. Афганцы, кстати, эти галоши тоже оценили. Половина Афганистана ходила если не босой, то в наших глубоких галошах. Но сейчас речь о кроссовках. Всякий из наших солдатиков и командиров, если имел такую возможность, бежал покупать их, кстати, китайского производства, в ближайший дуكان. Но никто в высоких сферах и пальцем не пошевелил, чтобы обеспечить сими изделиями обувной промышленности наш ограниченный контингент. Говорят, перед Великой Отечественной в верхах нашей армии бытовало выражение: «Нам на Эльбрусах не воевать!» — в связи с чем верхи совершенно не заботились о подготовке горнострелковых подразделений — им же, высоким сферам, действительно было там не воевать. Из этого они и исходили. Так же, вероятно, думали перед Афганистаном, так же думали перед Чечней.

— Сережа, ведь духи экипированы были по последнему слову науки! — это Володя Ломаков уже о Чеченской. — А на наших десантников, на эту нашу пацанву, страшно было смотреть. Бушлаты и так-то на пять кэгэ тянут. А тут, промокшие, тянуть на все двадцать пять. Керзачи рваные, к ногам примерзли. Их без ножа не снять. Разрезали — а у некоторых пальцы уже черные. Их только ампутировать. И таких посылают на задачу!

И питание. Было оно таким, что на боевых питались лучше. Там барана подстрелят или телка прижучат, в садах и виноградниках, в кишлаках чем-нибудь разживутся. Был строжайший приказ на этот счет — никаких реквизиций, никакого мародерства, советский солдат есть эталон морали и идеологического воспитания. Приказ был правильным. Однако еще правильнее было его обеспечить. А у нас, кроме разве что вооружения, все было в дефиците, включая бумагу, книги — да все.

Тоже арифметика войны и даже ее зеркало.

Шел Серега колонной. Наткнулись на разбитый духами караван. Горят машины-бурбахайки с товаром. Видно, не успели духи все забрать. Лежит разбитый ящик изюма. Лежит и изюмом прямо светится — такой изюм чистый, такой манящий. К нему подбирается огонь. Серега слюну проглотил, глаза отвел. А бойцы слюну проглотить не могут, глаза отвести не могут — украсть не грех, а сторит — грех. Серега отвернулся. А бойцы — ящик на бэтээр и тут же изюм

до отказа в рот. Минута — и не было бы изюма. Но один нагреб в каску про запас. Серега не видел. Он подождал, прикинул, что изюма уже нет, и строго:

— Ну-ка, орлы, иди сюда! Где изюм?

Он же думал, изюм уже по кишочкам к заднее-проходному отверстию путешествует.

Бойцы-орлы:

— Какой изюм, товарищ майор?

А этот с каской:

— Вот, товарищ майор!

Серега в душе его ласково — матом, бойцам же орлам команду:

— Уничтожить награбленное!

Орлы ямку выкопали, взвод выстроили. Изюм в ямку зарыли, салютом в воздух пальнули, поплакали. Душевно получилось.

Воровали, тащили в духан и у Сереги в батальоне. Тащили все — автомат и грязные порты товарища, продукты питания, мыло, патроны. Тащили все, что подвернется под руку. И не только бойцы тащили. Серега с Костей Кравецом идут по расположению, заходят в автопарк. А полдень. Жар одуряющий. Жар давит. В автопарке дежурный приткнулся в угол. Проходят Серега и Костя мимо, вдруг слышат в этом давящем жаре некий разговорчик. Говорят старшина хоззвода и батальонный фельдшер.

— Да ты не пидай кипятком, как девочка в детсаде! Все будет... не в первый раз! Тебе же афошек отвалим — зашибись! Домой привезешь бабе — до самой старости давать будет без отказа! — говорит старшина.

— Я не могу разрешить использовать санитарную машину не по назначению! — робко возражает фельдшер.

— Да не строй из себя девочку! Я не знаю, что ли, что ты в ней развозишь по духанам! Я все знаю! — говорит старшина.

— Я ничего и никого в ней без разрешения комбата не вожу! — опять боится прямо отказать фельдшер.

— А я от кого? Я от комбата тебя и прошу. С ним согласовано. Он что, он к тебе прямо так подойдет: «Ах, товарищ военфельдшер!» — С ним согласовано. Погрузим сейчас, а ты скажешь, что больных повез в госпиталь. Никто проверять тебя не станет! Афошек же отвалим — ты за всю жизнь столько в Союзе не замантулишь! И смотри. На боевых всякое бывает! Чтобы отсюда живым вернуться, надо здесь жить: «Ты мне — я тебе!» — насаждает старшина.

Серега — за пистолет. Костя Кравец его — за руку:

– Стой, не так!

И был прав Костя. Если так, если сейчас старшину арестовать, разборки и позора на батальон будет до самой замены, да еще в Союз уйдет характеристика с соответствующей припиской. Армия и война – дело тонкое.

– Он же моим именем прикрывается, сволочь! – в злобе шипит Серега.

– Он тебе подсказку дает: на боевых, – Костя нажимает на слово «на боевых», – на боевых всякое бывает!

– Он же хозвзвод! Он на боевые не ходит! – в своем кипении не сразу понимает своего замполита Серега.

– Пусть теперь ходит! – говорит Костя.

– Ну, замполит! – шипит Серега и кладет пистолет в кобуру.

Через час писарчук стучает на машинке приказ по батальону о выходе на боевые всем без исключения, включая и самого писарчука. Утром на построении приказ зачитывается. Вечером на построении комхозвзвода докладывает об отказе старшины приказ исполнить. Серега пишет на старшину определенную характеристику для откомандирования старшины в Союз.

– Красивая и бескровная операция, товарищ майор! – говорит Костя Кравец.

– Полководец! – восторженно говорит Серега.

4

– Совершенно потрясающая женщина! – сказал Серега командиру полка Седову об официантке.

Всего несколько дней назад они с майором Васей Герасимчиком и тремя девушками просаживали последние рубли в ташкентских ресторанах. И не должен бы вроде Серега за это время одичать. Но если кто-либо захочет проверить мужчин, пусть отправляет к ним женщину – одну женщину в мужской коллектив. Обратная проверка – мужчины в женском коллективе – за небольшим исключением, невозможна. А проверка целого скопа мужчин посредством одной женщины дает прямое попадание.

В санатории Серега столкнулся с парочкой. Он занимал хорошую должность в штабе округа. Она была его начальником штаба, в том смысле начальником, в каком военные называют своих жен. Серега увидел – она ему мстила всю жизнь за то, что она была смолodu некрасивой, что никто на нее в молодости не обращал внимания, а он обратил. Она вышла за него сразу же. Но сразу же стала думать: «А, ты

мог жениться на другой. Но ты женился на мне. Значит, ты что-то темнишь, прикикеришься, благородного корчишь, интеллигент хренов! А рыльце явно у тебя в пушку!» — Она видела другие пары и им завидовала. По ее, другие пары были красивые, а она со своим кикерой — нет. К старости она забыла, что была некрасивой, потому что некрасивыми стали и те пары, кому она завидовала. Она стала думать, что у нее могла бы быть другая жизнь, если бы этот кикеря на нее не обратил внимания. Она стала считать, что он изломал ей жизнь.

— Вот, Сережа, какие бывают люди! — говорила она про мужа.

— Да что вы! Муж у вас замечательный! — искренне восклицал Серега.

— Замечательный — это вы! Будь я ваших лет, я бы все сделала, чтобы вы на мне женились! — говорила она.

— Да! — искренне смеялся Серега.

Женщину можно проверить только один на один. И замечание комполка Седова, что все женщины расписаны, не трудно догадаться, имело другой смысл. Этот смысл исходил из понятия «боевое расписание», означающее прикрепление того-то к тому-то и так далее. По этому расписанию выходило, что женщины в полку были у самого командира, у его заместителя по политчасти, у второго заместителя по политчасти, занимающегося спецпропагандой, то есть работой среди местного населения, и одна женщина была ничья. До этого она была женщиной заместителя командира полка по тылу. Он заменился. По традиции, она должна была достаться новому зампотылу. Но она ему отрезала. Комполка Седов вписал ее в расписание для простоты понятия. Не объяснять же было новому комбату в парадном мундире всю сложность положения зампотыла, не позорить, так сказать, честь полка.

Через полгода у Сереги был случай.

Батальону выпало обниматься с вышеупомянутой трубой на самом перевале. Женщин там был полный ноль. Для того, чтобы не забыть, как она выглядит, как-то даже собирались соорудить на плацу чучело.

По поводу благоустройства страдать не приходилось. Серега человеком был скрупулезным. Землянки, баню, сортир, кухню, капониры для техники, то есть весь культур-мультир был у него в самом лучшем виде, за что, само собой, Серега от командования получил особую благодарность:

— Лучше бы за трубой следил, майор. А то банька-манька, сортир-мортир, понимаешь. А труба... — выговорило

начальство.

И ведь видно было по рожам — отставить! — видно было по выражениям их лиц, что нравится им такое ублажение, нравится такое хозяйство. Но начальство — ничего не попишешь. Труба трубила у Сереги исправно. Два-три подрыва в месяц вместо бывших семи в сутки — это воробьиный чпок, он же чих. Но начальству — надо. Начальству дело святое — обругать. Откуда это повелось в Красной Армии — один всеведающий и вездесущий, свет небес и земли Аллах знает. И если это осталось атавизмом от старой армии — хотя данная вводная является вернее всего дезой, но если это повелось от старой армии, тайным образом минуя все бдительнейшие революционные кордоны, то увы Красной Армии. Если там, в той армии, это все было, то там оно было в соответствии с устройством старого мира. А в Красной Армии оно повелось под прямым углом к новому, фланговому ударом по красному, коммунистическому мироустройству. Выходило, что в Красной Армии отцы — командиры не являли собой пример для подражания, как то следовало. «Хочешь сладко есть и пить, быть к начальству ближе? Держи попу высоко, голову понизе!» — стало уставным принципом в Красной Армии. Впрочем, теории, этики и эстетики — это дело Кости Кравеца. У него: «В.А. Штоф под моделью понимает такую мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте». А ведь был Костя боевым замполитом батальона пехоты.

Случай был такой. Серега — на трубе, хозяйство у него в полном порядке, начальство матерится, но матерится в поощрение. Ажур у Сереги и абажур. Даже министерская проверка всей дивизии удовлетворительную оценку поставила, поглядев на батальон Сереги. Всей дивизии министерская проверка — гнутошею лебедицу вывела и спросила, ну-де что еще посмотреть, где еще желчи перед отъездом в кровь брызнуть. Она спросила и сама же ткнула пальцем в карту: «А вот тут, на перевале, третий батальон такого — то полка стоит. Вот где оторвемся по полной программе!» Приехала, проверила, посмотрела и комдиву сказала: «Если бы не этот комбат...»

Вот так. Если бы не комбат-три...

А все-таки Сереге в батальоне чего-то не хватало. Уже полгода не хватало. Молодым, кто пока в это дело не втянулся, оно без этого было терпимо. А Серегам, которые

это дело познали, оставаться вот так, без этого, несмотря на круглосуточную загруженность по той же, скажем, трубе, по тем же, скажем армейским операциям, по тем же плановым засадам, Серегам это до скуловерчения в глазах было надо. И Серега за эти полгода прибурил так, что готов был в горе кое-чем пещеру сверлить.

В такое его и его товарищей офицеров состояние в вечерок под новый год радио принесло приказ закрыть перевал до утра.

— Закрыть на хрен, и чтобы ни одна благодать не прошла! Ты понял, комбат! – принесло радио, конечно, принесло с некоторыми замененными в нашем тексте словами.

Серега перевал, конечно, – на хрен, то есть группы на броне по обе стороны и еще дополнительные посты. Перед застольем он еще с Мишей Глухаревым лично все проверил, личный состав в наступающим восемьдесят третьим поздравил, успехов и скорого возвращения домой пожелал, ну, сказал потом, можно в моей землянке и маленький, скромный, но достойный стол накрыть. Плохо было, что замполит друг Костя Кравец пребывал с гепатитом в госпитале. Но стол-то все равно следовало накрыть – тем более, что он и без Сереги был накрыт и накрыт поваром так, что ах, потому что повар у Сереги был из одесского ресторана. Его неоднократно пытались выкрасть соседи, а командир эскадрильи вертушечников Валера Шувалов предлагал дать за него двух гарных дивчин из своей столовой. Без дополнительной вводной ясно, что Серега не соблазнился, честь пехоты не уронил.

Только расстегнулись втроем – сам Серега, начштаба Миша Глухарев и зампотех Коля Жаворонков – только глазами на стол блеснули, как врывается дежурный комвзвода и с криком: «Женщина!» – едва не падает замертво.

— Ты что, лейтенант, Устав забыл? Какая женщина! – соединил Серега от такого явления несоединимое, то есть Устав вооруженных сил Советского Союза и женщину.

— Наша советская женщина! Разрешите доложить, товарищ майор! – на последнем издыхании вошел в службу дежурный комвзвода.

«Ну, все. Началось. Горная болезнь. Цинга. Галлюцинации!» – подумал Серега и подумал не про дежурного комвзвода, а про себя, не у него ли самого началось, только началось не от горной болезни, конечно, а от той самой голодухи.

— Не понял лейтенант! Доложи по всей форме! – чтобы

проверить себя, посуровел Серега.

– Разрешите доложить, товарищ майор. Там наша советская женщина хочет... – докладывает дежурный комвзвода и опять ладится упасть замертво.

От сочетания слов «женщина» и «хочет» Серега получает своего рода контузию.

– Доставить сюда! – приказывает он, совершенно зная, что доставлять некого, что кругом сплошная галлюцинация.

– Есть доставить! – воскресает дежурный комвзвода и через минуту являет Сереге и всему честному земляночному народу некое чудное видение, слегка припорошенное крупными снежинками.

– Товарищ майор! Разрешите обратиться? – вскидывает чудное видение руку к армейской шапке.

– Вы кто? – с полным политесом, то есть, сам себя не понимая, строго спрашивает Серега.

– Товарищ майор! Та вы же ж у комполка были, як прибыли до Ташкуртана! Я же ж вам на стол накрывала! Помните? Я официантка Жанна! – улыбается чудное явление в армейской шапке.

– Вот так хубости чатурости, харасты бахарости! – поглупел своим васильковым взором Серега, и в том смысле хубости чатурости, что означают они по-местному примерно «Здрате вам!» только во всех восточных изысканностях и без глупого василькового взора. И еще в том смысле хубости чатурости, что Сереге было известно – это чудное явление в армейской шапке, то есть официантка Жанна, оказалась не расписанной, то есть при всех армейских традициях и при всех потугах нового зампотылу она осталась свободной. Сказал Серега себе восточные изысканности, в смысле «Здрате вам!» и взбугрился телом и душой.

– Жанночка! Да давайте к нашему столу! Да вы же просто снегурочка из сказки! Да вы нам такой подарок сделали! – взбугрился Серега.

– Спасибо, товарищ майор! Но мне надо дальше ехать! А вот ваш дежурный комвзвода не пускает! – вся в лучах чинопочитания отвечает Жанночка.

– Куда же дальше, Жанночка! Никуда мы вас не отпустим! Приказ всех задерживать, никого не отпускать! Да мы и без приказа вас не отпустили бы! – задохнулся от своего бугрения Серега.

– Нет, что вы, товарищ майор! Мне надо срочно ехать! – еще не верит Жанна.

– Никуда не поедете, Жанночка, у меня приказ. Но мы и без приказа вас никуда не отпустили бы! – талдычит Серега

и от бугрения переходит к обаянию.

– Нет, ехать надо, товарищ майор! – щебечет Жанна.

– Нет – приказ! Но мы бы – и без приказа! – обаяет ее Серега.

И до Жанны доходит, что Серега при всем своем обаянии есть похотливый самец. До нее доходит, что он ее действительно не отпустит. Она сначала, как и полагается женщине, переходит в короткий женский плач, а потом быстро меняет его на приказной тон, мол, у нее приказ сегодня же прибыть туда-то, и за препятствие приказу Серега ответит по всей строгости перед самим командующим армией.

– Вы что себе позволяете, майор! – совершенно грамотно, по-начальнически полыхнула она на Серегу гарным своим взором.

Серега ее слушает, васильковым взором ее ест, но, как снулая лошадь, и ухом не ведет. Он готов для нее сейчас подвиг совершить – восторженный человек Серега, восторженный и галантный. Он смотрит на Жанну. Он практически ею уже овладевает. И в это же время он готов ради нее на подвиг. Он готов ради нее даже на большее, чем подвиг. Он готов для нее на все, что угодно. Вот каков человек Серега. Но еще он человек скрупулезный. У него приказ.

И Серега говорит:

– Нет, милая барышня! До нового приказа вы останетесь здесь!

И остается Жанна в расположении батальона до утра. И садится она за новогодний стол из одесского ресторана со спиртом и густой галантностью во главе. И видит она в этой густой галантности, что быть ей сегодня в постели у этого галантного майора, видит, ужасается. Но с каждым глоточком спирта, с каждым витиеватым тостом для нее, с каждым таким, к месту, анекдотом, она ужаса своего по частичке теряет. Она с каждым таким моментом как-то этак уже смотрит на Серегу, мол, да сколько же можно, когда вон он какой, этот непреклонный майор! И еще она думает – куда бы она ночью на своем одиноком бэтээре, который подстрелит даже слепой, если бэтээр до того на мину не сядет! И начинает она ужасаться другому. Не серегиной постели начинает она ужасаться. А в дрожь даже через туманность в своей красивой головке она приходит от мысли, что могла бы запросто попасть в плен. И видится ей Серега спасителем, и пропитывается она к Сереге благодарностью.

А Серега в это время наливался уверенностью – ничего-де, поведывается, но сдастся. И еще наливался Серега

сомнением. Сдастся — это само собой. Но сдастся кому? Кого она выберет из троих, кто ей больше по душе придется?

Все за столом ажурно-амурно, все за столом превосходно. Но ест Серегу сомнение. И, ест оно его боевых товарищей. Война. И Серега на этой войне начальник. Только он глазом моргнет — в миг боевых его товарищей в землянке не станет. У него уже картинки в голове закрутились, как все будет, когда он вдвоем с Жанночкой останется. По нему уже судороги пошли. Его зазнобило, как лосося перед икрометанием. Но он представил, как будет его мужикам лежать за стенкой. Он представил, как будет утром помышинуму шнырять глазами от их глаз, как они будут избегать его мышиноного взгляда.

— Ладно, — сказал Серега. — Ладно, ребята! Завтра, то есть уже сегодня, службу править. По коням! То бишь — по топчанам! Я ночую у вас!

5

Молодым, оказывается, женщина не менее была нужна, чем Серегам.

Только в батальоне узнали, что появилось чудное видение официантка из офицерской столовой полка Жанна, так сразу же все молодые, весь личный состав, кроме тех несчастных, кто в такой миг оказывался в нарядах и караулах, встал на уши.

Да! А мы за всем этим волнением забыли сказать, что Жанна каким-то невероятным образом упростила комполка Седова отпустить ее на один день в отпуск к жениху в соседнюю часть. И остается вопросом, как тот пошел на это, как он отпустил ее одну. Как Бог ее уберет, как неведимой донес до Сереги — это другой вопрос. Как Бог велел перевал закрыть — это тоже другой вопрос. Как она, влюбленная дура, кинулась — это вообще не вопрос. Но как он ее отпустил! Любовь — любовью, жених — женихом. Но война-то — без расписания. Их с водителем прихватить могли на каждом метре.

Слава Богу, обошлось, и утром она Серегу в благодарных слезах целовала, сквозь влюбленные сопли говорила, что век не забудет этого Сереге — и что не пропустил, и что не тронул.

— Ну что вы, сударыня! — сказал Серега.

А накануне того, вечером, пока Серега старался без привычного матерного командирского доказать Жанне, что дальше его батальона ей ничего не светит, молодые времени не теряли. Они от чудного видения впали в некое состояние,

при котором им вернулся атавизм в виде приказа номер один Петроградского совета солдатских депутатов от первого марта семнадцатого года. Они создали делегацию нижних чинов и заявили к Сереге. Серега, Миша и Коля это чудное видение Жанну на табуреточку усаживают, глазки ей промокают, носик вытирают, спиртик подносят, барбарисовую водичку пододвигают, а делегация, вся отглаженная и начищенная, в дверь стучит, и ее депутат, то есть аманат, или как точнее сказать, ее полномочный представитель сержант Акаев с полной, не присущей атавистическому приказу номер один, субординацией являет:

– Товарищ майор! Разрешите обратиться!

– Обращайтесь! – довольно принапрягся от такого явления Серега.

– Товарищ майор! Приглашаем вас всех на концерт художественной самодеятельности! – лупит глазами Серегу и одновременно косит на Жанну сержант Акаев.

– Какой самодеятельности? – еще более принапрягся Серега.

– Художественной, товарищ майор! Силами личного состава батальона по случаю Нового года подготовлен концерт художественной самодеятельности! – ест одним глазом Серегу, а другим обаяет Жанну сержант Акаев.

И вся делегация во тьме задверного пространства, как волки в ночи, глазами на Жанну блещут.

Конечно, пришлось Сереге сотоварищи пойти за своими подчиненными. Пришли они в столовую, где собрался концерт, и Серега глазам своим не поверил: весь личный состав вымыт, выбрит, подшит и начищен! «Где Аллах и где сто сорок семь пулеметов!» – в душе восклицает Серега. И причина воскликнуть была. При таком обороте Серегу можно было с комбатов снимать и командиром батальона назначать Жанну. Все ведь для нее преобразились. Серега сразу это понял. И Жанна тоже поняла. А концерт – ёкарный бабай! Концерт личный состав батальона закатил такой, какой к Дню Советской армии двадцать третьего февраля в Центральном Доме Советской армии не закатывают! Ладно, там, пели. Так ведь акробатические этюды стали исполнять, танцы показывать и стихи читать! Рядовой из ремвзвода Киплинга давай шпарить: «Когда похоронный патруль уйдет, и коршуны улетят, приходит о мертвом взять отчет мудрых гиен отряд...» – говорит, что стихотворение об Афгане времен британской оккупации! Хрен с ней, там, британской оккупацией! Им-то, воинам-

интернационалистам эту панихиду для чего! Но закатили ему овацию – потому что читал стихотворение, и потому что была Жанна. Сержант Акаев кинулся в какой-то дикий самотряс, объявив его лезгинкой. А Виталик Селезнев отмочил матросское яблочко. И тоже – не объяви это яблочко заранее яблочком, смело можно было принимать Виталика за зулуса, наконец-то, загнавшего в силки козу. И им тоже закатили овацию, потому что была Жанна.

А она вся была такая, она понимала, что все было устроено только для нее, что прикажи она сейчас – батальон снимется ее провожать, куда там ей надо, батальон кинется на подвиги. Она понимала, что сейчас она – центр Земли, сейчас – она императрица!

Вот такая Жанна пришла после концерта к Сереге в землянку, такая она, говоря мужским языком, пришла вся разогретая, да потом еще под спирт – мирт слушала в свой адрес вдохновеннейшие тосты да была прожигается огненными взглядами – ну, сколько бы у нее хватило сил сопротивляться!

Но посидели, и Серега сказал:

– Ладно, ребята! Завтра, то есть уже сегодня службу править. По коням, то бишь по топчанам! Я ночую у вас! Жанночка, спокойной ночи!

Костя Кравец говорит, а он, как учение Маркса, всегда говорит верно, – так вот он говорит: «Все, что пропито с друзьями, никуда не пропадет, в страшный час из страшной ямы оно вынет и спасет». – К событию с Жанночкой данная аксиома отношения не имеет. Была Жанночка, благодарными сопельками Серегу опутала и отбыла в необходимом направлении. Зато другое событие подобного рода вынуло и спасло Серегу. Оставил он свой третий славный батальон сто двадцать такого-то славного полка по замене и решил на экзамены в академию, где его резонно спросили:

– Ви хайзен зи? – то есть, как-де вас зовут.

Оно, естественно, между арийским народом немцы и арийским народом афганцы есть много общего – по крайней мере, в большинстве своем они оба принадлежат к индоевропейской языковой семье, как, впрочем, и мы, арийский народ славяне. Но много общего – это не значит, что Серега на экзамене по немецкому языку мог воспользоваться десятком знакомых афганских слов или всею мощью великого и могучего русского языка или его составной частью, именуемой командирским матерным.

– Ви хайзен зи? – резонно спросили его.

А он стал резонно молчать, потому что в Афгане таких вопросов не наблюдалось. В Афгане за трубу спрашивали, за провинцию Айбак спрашивали, за плановые засады спрашивали, за идейно-политическое состояние бойцов спрашивали – далее кто что придумает, за то и спрашивали. А вот так резонно: «Ви хайзен зи?» – никто не спрашивал. И Серега резонно стал молчать.

– Ну, что же вы, товарищ Аксаков! – понудили его спрашиватели, кстати, все, как на подбор, женского пола.

Поднял на них Серега свой васильковый взгляд и с достоинством ответил:

– Я думаю!

И был прав Серега, потому что два года назад, прибыв в Ташкент и ожидая отправки, они с майором Васей Герасимчиком бездарно и тускло не пропивали последние рубли где-нибудь за углом пересылки. Нет. Они восторженно приглашали ташкентских девушек в ресторан и – заметьте – приглашали без какого-либо умысла о том самом, что обычно всплывает в воспаленном мозгу некоторых озабоченных. Они галантно, как подобает офицерам Красной Армии, познакомились во время гулянья по Ташкенту с тремя хорошенькими девушками, пригласили их в ресторан, пообщались, потанцевали, проводили домой, взяв, разумеется, номер телефона, а потом профессионально, по-пехотному, пошлепали до своих зеленых ворот с красной звездой. Вернулся Серега через два года в Ташкент, позвонил, пригласил – и оказалось, что у одной из тех девушек тетя принимает в Академии экзамен по иностранному. Она-то и была одним из спрашивателей у Сереги того, что он за войну напрочь забыл. Вот тут и сработало мудрое речение Кости Кравца. Получил за свое резонное молчание Серега заслуженную оценку «удовлетворительно».

С Васей он познакомился, когда на пересылке пошел получать матрац.

– Привет! За тобой никого? – спросил он Васю.

– Привет. За мной Союз со всей его мощью! И теперь ты! – сказал Вася.

– Ты куда? – спросил Серега.

– В двести первую! – сказал Вася.

– И я в двести первую! – восторгнулся Серега.

– А полк? – спросил Вася.

– Сто двадцать такой-то! – сказал Серега.

– И я в сто двадцать такой-то! – восторгнулся Вася.

– А кем? – спросил Серега.

– На батальон! – сказал Вася.

– И я на батальон! – восторгнулся Серега.

– Вечером свободен? – спросил Вася.

– Абсолютно! – сказал Серега.

Комбат-два майор Вася Герасимчик погиб. Он погиб так. Серега уходил на операцию.

– Дружище! Мы с тобой не виделись около месяца! – сказал он Васе по радио. – Я буду мимо тебя проезжать завтра. Если удастся, я хотя бы на минуту к тебе заскочу!

Серега шел ночь. А Вася на бэтээре ждал его. Увидел и прыгнул к Сереге:

– Серега! Нам с тобой пора посидеть, выпить по сто граммов!

Серега ему:

– Вася, будем возвращаться, я Мишу Глухарева с батальоном отправлю, а к тебе на целые сутки забурюсь!

Вася:

– Все, Серега, я тебя жду! Ты только себя береги!

Серега:

– Ты сам, Вася, себя береги!

Вася:

– Да мне что здесь, я дома!

– Ну, будь, Вася! – сказал Серега.

– С нами Аллах и сто сорок семь пулеметов! – сказал Вася и, коммунист, перекрестил Серегу.

Операция была армейская, никакая. Весь положительный ее результат был в том только, что на месте проведения операции собирались поставить дополнительные гарнизоны, и для них нужно было зачистить территорию. Серега с колонной пошел. Пыль от колонны встала такая, что спрессуй ее – и строй еще одну китайскую стену. Ничего нельзя было увидеть в этой пыли. Но Серега почему-то оглянулся. Он будто почувствовал, что Вася зачем-то побежит, что у него что-то внутри оборвется, и он побежит за Серегой. Серега оглянулся, но ничего не увидел и ничего не услышал.

– Колонна, стой! – рывкнул Серега в радио, схватил из санитарной машины фельдшера и побежал в пыль.

Вася, разорванный миной, лежал на обочине.

6

Володя Ломаков был первый, а может быть, единственный, кто с двумя пацанами, выряженные в местных и на трофейном автомобиле совершил разведку по Кандагарской дороге вглубь кишлачной зоны на двести

километров. Он видел, как местные ставят мины. Поставит бабай или бабаенок мину и сидит ее караулит. Свои едут – он песок разгребет, взрыватель выкрутит, своих пропустит, потом взрыватель обратно поставит и опять сидит караулит. Наши пойдут, он за дувал спрячется и оттуда ждет. За подрыв он получает денежку. Едет Володя Лом и думает, где какая сволочь вдруг заснула около своей мины – и он сейчас на нее наскочит. Операция была полностью секретная. Ему перед ней запретили бриться, чтобы оброс, как местный бабай, и от всяких контактов с царандоем-марандоем его укрыли, чтобы никому там в голову не пришло, а что это-де вон тот старлей один из всего ограниченного контингента советских войск не бреется. Из разведки его должен был в условленное время на выносном посту встретить Патрикей, Вовка Патрикеев.

– Все. Я уже на посту! – дает радио Патрикей.

Володя Лом радостно тянет, предвкушает дом. Луна, дорогу хорошо видно. Но дорога разбита. И Володя тянет на второй передаче. Прошел он последний перед постом кишлак. Вот должен пост быть. И точно – на Володю прожектор. Володя – в мат. Прожектор же слепит. И чтобы дорогу видеть, надо на этом прожекторе, как червяку на крючке, вертеться. Вертится Володя, дорогу не видит и от злости Патрикею по радио говорит, чтобы прожектор выключили. А Патрикей молчит.

– Ср... что ли, его приспичило! – матерится Володя.

И с поста слышит он вдруг, как там командир орет страшные команды.

– Приготовиться к бою! – орет там командир.

Володя бойца-узбека Куатова из машины шарахнул:

– Беги, кричи, что свои!

Боец-узбек Куатов из машины выскочил, во всю прыть перед машиной побежал и заорал:

– Свои! Командир! Свои!

А тот слышит великолепный восточный выговор и дает еще страшнее команду.

– Огонь! – дает он команду.

Володя руль бросил, сам из машины выскочил.

– Мать-мать-мать! – заорал. – Отставить «Огонь!» Что за папа такой кричит тут «Огонь!» – и еще мать-мать-мать, так как эта звучная русская речь во все времена являлась лучшим паролем.

Подбегает Володя к посту. Командир смотрит – чалма, борода, мотня у колен, разгрузка с магазинами, калаш.

– Ты кто такой? – командир поста на Володю.

- Тебя это волнует? Свой! – кричит ему в запале Володя.
- Какой свой! Оттуда свои ночью не приходят! – резонно кричит на Володю командир поста.
- Потому и вырядился, что не приходят! Бронегруппы тут не было? – спрашивает Володя.
- Никого не было! – отвечает командир поста.
- Ладно, капитан! Спасибо, что не вломил со всех стволов!
- благодарит его Володя.

А Патрикей выезжать и не думал. С вечера было седьмое октября, день брежневской конституции. Володя в расположение части прибыл, а Патрикей только-только кепку на башку перед зеркалом пристраивать начал.

6

- Если начальство не тут, к нему надо подходить с умом!
- постулат Сереги.

Как обходились младшие и средние командиры с приказами свыше в Великую Отечественную, сказать трудно. Как таковые обходились в Афгане, тоже есть дело тонкое. Серега же на иные приказы клал с прибором потому что иные приказы были или сдуру, или от великого полководческого таланта, когда их создатель мог в мельчайших деталях за сотню километров через горные хребты провидеть ситуацию с батальоном, ротой, а то и взводом.

Комполка Седов приказывает Сереге проверить результат штурмового удара вертолетов. Серега ему отвечает, что никакого штурмового удара и никаких вертолетов не наблюдает. Комполка Седов приказывает. Серега запрашивает координаты удара, сверяет и докладывает, что в зоне действия его батальона такого квадрата нет. Комполка Седов – Сереге о своем, о девичьем:

- Проверить!
- Серега:
- В зоне моего батальона никакого штурмового удара не производилось!

Комполка Седов – в могучий командирской матерный, типа, ты что, комбат и так далее.

То ли спасая своего командира, то ли комсомольский задор шибко прорезался, вдруг замполит седьмой роты у Сереги вопит, что он видел вертолеты, видел штурмовой удар и просит разрешения проверить.

- Серега – ему:
- Я запрещаю!

Комполка Седов через голову Сереги:

– Давай старлей! Я приказываю! Проверить!

– Есть проверить! – хапает в задоре под правое ухо ушанки замполит, берет отделение бойцов и спускается глубоко в ущелье речки, на берегу которой на ровной площадке узрив он двухэтажный байский дом.

Спускается он, потихоньку, со всеми предосторожностями к дому подтягивается и докладывает:

– Нахожусь перед домом. Приступаю к осмотру!

Не успел он досказать, как у Сереги в наушниках затрещало такое, что Серега едва с себя не сдернул шлемофон – духи со всех окрестностей со всех стволов по замполиту всадили.

– Серега, что? – без всяких позывных заорал замполиту Серега.

– Нахожусь в доме. У меня один трехсотый! – уже без задора через несколько минут докладывает замполит.

– Как его состояние? – спрашивает Серега.

– Вкололи промедол, накладываем шину! – докладывает замполит.

– Доложи обстановку и координаты! – приказывает Серега.

Тот докладывает, и Серега видит, забурился его замполит со своей инициативой туда, сам не знает, куда. Нет у Сереги на карте таких градусов, минут и секунд. Ушел он за обрез карты.

– Давай так! – говорит Серега и начинает шарить по окрестностям артиллерией.

Гаубица берет возвышение едва не под прямой угол, дымовым снарядом дает выстрел, Серега замполита спрашивает:

– Разрыв видишь?

Тот:

– Не вижу!

Гаубица дает выстрел по другому квадрату.

Серега:

– Выстрел видишь?

Тот:

– Не вижу!

Комполка Седов погнал вертолеты:

– Квадрат такой-то. Искать!

Серега – замполиту:

– Обозначь себя оранжевым дымом!

С вертолетов:

– Никаких дымов не наблюдаем!

Сергеа опять артиллерией:

– Разрыв видишь?

Замполит:

– Не вижу!

В конце концов, нашли. Увидел замполит дым взрыва и заорал так, как если бы свою невесту увидел.

Сергеа:

– Сидите и ждите темноты. Если полезут, корректируй, будем прикрывать артиллерией. Высылаю помощь!

Комполка Седов:

– Ты что, комбат! Какая темнота! Приказываю прорываться!

– Да полягут же все, как на речке Пьянее, товарищ полковник! Обозлился и вспомнил Сергеа из истории не украшающий русскую армию эпизод, как пошли брать Казань да, не подходя, перепились и были казанцами перерезаны.

– Ты мне тут, майор, ... не размахивай! Прибереги для дамочек в Союзе! Приказываю на прорыв! – обиделся комполка Седов.

Сергеа своему начальнику штаба Мише Глухареву:

– Миша, бери взвод восьмой роты, он всех ближе там, подойди, насколько возможно, если что, обеспечишь вывод!

Миша Глухарев выдвинулся, докладывает:

– Вижу дом, командир, но не пройдем! Плотняком дом держат!

Сергеа в душе – матом, а вслух:

– Все. Приказываю ждать темноты!

Комполка Седов матом:

– Труссы! Я приказываю прорываться!

Замполит:

– Есть прорываться! Для трехсотого мы уже сделали носилки!

И только с носилками выскочили – так пятеро сразу тут же при дверях полегли. Был один трехсотый. Стало к нему пять двухсотых.

Комполка Седов:

– Ну, что, комбат, какие твои действия?

Так учило начальство подходить к нему с умом, если оно не тут.

Замполита же с пятью мертвыми и с пятью живыми Сергеа вытаскивал три дня. В первую ночь прорвался один боец. Он был таджик. Его послали за водой, вдруг да получится. Он взял котелки, гранату-эфку, разулся, чтобы сапогами по камням не стучать, и пошел. Его сразу взяли в кольцо. Он

им по-своему скалякал, что вышел сдаваться, гранату и котелки — в них, а сам — в речку. Проскочил.

Миша Глухарев — Сереге:

— Один вышел, трясется, ревет!

Всю ночь духи — по дому. Из дома — по ним. Сверху Миша Глухарев — по ним. Они вверх — по Мише.

Другой постулат Сереги:

— Если соблюдать все предписывающие, как действовать, регламенты, то останется только сидеть и курить бамбук.

То есть приходилось искать узкую тропку между предписаниями, за нарушение которых — ответ своей головой, и между дурью, за исполнение которой — ответ чужими головами.

И это было арифметикой, это было зеркалом войны. Упражнения в такой арифметике вылились в богатейший опыт, который, по славной начальнической традиции постарались забыть.

Комполка Седов Валерий Павлович представлял Серегу к ордену три раза.

— С тебя погоны и ремень снимать надо, а я тебя... — говорил он.

Все три раза представления возвращались. Полководцы сверху прозревали сквозь горы и лично видели, кто чего заслуживает. Может быть, в какие-то последующие годы они устали прозревать и стали хоть сколько-то доверять подчиненным, всем этим комбатам, комротам, кому еще там. А может, свято чтители традиции и опыт Великой Отечественной, когда наградить бойца или младшего командира в начале войны было равно преступлению перед партией и правительством — считай, перед Родиной. Кто бы сосчитал, сколько хотя бы к самой низшей награде — медали «За боевые заслуги» было представлено бойцов и младших командиров, например, за победоносную битву под Москвой. А полководцам высокие ордена — пожалуйста, даже в том случае, когда они, как известный генерал Власов, войсками в этой битве не руководили. В начале афганской войны сложилось то же самое. В последующие годы стало пощеднее. А на первое представление Сереги к Красной Звезде за результат в четыре взятых на засаде каравана был ответ: «Мало прослужил». Второе представление кадровики мяли полгода, потому что, по их понятию, ранее, чем через полгода после первого представлять нельзя. Пока они мяло второе, Серегу пришлось представлять в третий раз. Серега столкнул две банды. Они перестреляли друг друга. Комполка Седов написал так, что Серега лично в бою уничтожил их

обе. Ответ кадровиков был ответом философской древности:

— Он еще не получил первый, а вы его там тащите на второй! Живой — вот ему и орден!

— Переморщись, Серега! — пододвинул Сереге знакомую кружку водки комполка Седов.

— Да что вы, Валерий Павлович! — восторженно воскликнул Серега. — Они правы. Живой — это выше ордена!

Грызло у Сереги. Однако нашел силы. Комполка Седов глаза отводил в обиду. Серега обиду проглотил. Хотя кому не хочется вернуться домой не только живым, но и с орденом. Там, дома, жизнь другая. Там, дома, никому не интересно, что ты держал всю провинцию в руках, что труба у тебя на солнышке блестела, будто была из духового оркестра, и исправно гнала горючку по назначению, потому что Серега научил к ней не подходить. Там никому не интересно, что тот же Коля Жаворонков под любым огнем вылезал из брони и цеплял к тягачу или к другой броне подбитую машину и пер ее к себе в ремонт. Никто там не поверит в чутье и бесстрашие Виталика Селезнева. А если еще узнают, что он погиб под своими пулями, так вообще скажут: «Да чем это вы там занимались! Пьянством, развратом и уголовкой? Интер-на-цио-на-лис-ты!» — и не поверят только потому, что сначала свысока скосят глаз Сереге на грудь. Скосят — а там пусто. Там — ни хт, там ек, там тю-тю. А в это время у других на груди будет — будет ез гибт, будет бар, будет иметь место. И Серега знает, как у них на груди появилось это «ез гибт» и прочее. Тема даже не недилактная. Тема просто совсем нехорошая. Потому что орденки в обязательном порядке будут у того же писаря строевой части, который списки представлений на машинке стучает, у того же кадровика из штаба армии или дивизии. Орденки могут оказаться даже у той официантки Жанны из офицерской столовой, если она себя поведет соответствующим образом. Вот зеркало войны. И совсем не наплевать на то, что дома-де никому дела до твоего ордена нет — ез гибт он у тебя или не ез гибт, бар он у тебя или не бар. Всегда везде всему и всем есть дело.

Дело есть, а места нет. Прибывает Серега в свою войсковую часть номер такой-то. Его с прибытием поздравляют, ему руку жмут, опять же, как бы невзначай спрашивают, а что-де — с девственно чистой грудью. Серега как бы в том же духе — зато-де совесть чиста. Ему-де — правильно. А потом:

— Товарищ майор, а ваше место занято.

Пока он два года в руках провинцию держал, дома подросли ребяташки — лейтенанты стали старшими

лейтенантами, капитаны стали майорами, и никто из них не дал повода к переводу их на нижестоящую должность.

Костя Кравец в свою часть вернулся — а ему:

— Командиром группы пойдешь? Места замполита роты нет!

Костя — в справедливый крик:

— Я замполит батальона!

До Кости сначала даже не доходит, что ему роту и не предлагают, ему группу, взвод, впаривают.

— Какая рота! Я боевой замполит батальона! — кричит Костя в запале.

Косте — в ответ:

— Вот у вас и с нервишками не в порядке. Может быть, на комиссование из рядов Вооруженных сил вас направить?

Говорит это кадровичок, а у него орден на груди поблескивает, вместе с хозяином осуждает Костю.

Володе Лому, Володе Ломакову из Второго Газнийского отряда, повезло больше. Но он — спецназ гереу, спецназ главного разведывательного управления, а Серега — мотострелок, то есть пехота. И о Володе — как-нибудь в другой раз.

Ну, все-таки и Сереге повезло. Получил он свои два ордена. Один орден — тот самый, который с философским уклоном, то есть вернулся Серега без единой царапины, без единой тифозной, гепатитной, малярийной бациллы. Второй орден — орден Красной Звезды был ему вдогонку. Второй орден был ему — за главаря Дильмамата, которого Серега не оставил заменщику и ушел домой с чистой совестью.

— Были бы потери — пошел бы под суд! — сказал комполка Седов и сделал четвертое представление.

7

Кто бы знал, что через девять лет этими же словами будет грозить Сереге заместитель командующего округом по вооружению.

Шел незабвенный девяносто третий год. Традиции творить свою революцию под французских кутюрье на этот раз большевики выдержали только хронологически. Во Франции двести лет назад революционеры-якобинцы начали большой террор. Наши такой террор начали в восемнадцатом году. И то долго ждали, когда же наконец проявит себя белая кость, когда начнет свою Вандею, как это случилось во Франции. Белая кость сидела смирно. Ну, там,

на юге выпендрился косоглазый Корнилов. Ну, там, выпряглись чехи — не захотели ехать домой из Пензы через Владивосток и без оружия. Ну, там, не выдерживали издевательств новой власти и хватались за вилы мужики. Но это же были семечки против бомбы под ноги или револьверной пули в спину. Царских сатрапов в этом отношении, выходит, уважали больше. Им и бомбы, и пули были во множестве. В них палили почем зря. В большевиков не палят. Бомб для большевиков не готовят. Обидно, понимаешь. Взались за террор сами.

А в девяносто третьем ситуация повторилась. Власть — и так со страной и этак. Страну она раздербанила. В пучину нищеты она народ повергла. Жулью-ворью она дала волюшку. Бандитов на большую дорогу она вывела. Олигархов она народила. Армию она бросила.

— Много жрешь, гунявая! — сказала власть армии.

Но не шевелится, не поднимается с холодной печи ни народ, ни армия, не идет спросить с власти. Шибко это власти не нравится. Как же, подобно Французской революции, террор развязать? Ведь годок-то девяносто третий — вот он, а террора нет! Поспешили, что ли, с террором в восемнадцатом, шибко напугали мужика, так напугали, что и ныне помнит мужик тот террор? А как же власти свои деяния по раздербаниванию, по повержению, по жулью-ворью-олигархам сокрыть? Лежит мужик — и ни в который бок его не уткнуть, не вызвать на противоправные, на антиконституционные действия. Хорошо хоть в Чечне заварушка начинается.

— Да мы ее одним полком в одну ночь ликвидируем! — смело говорит Паша-мерседес.

— Ты сначала армию ликвидируй, ликвидатор! А то с дуру она точно все там ликвидирует, что мы тут годами нарабатываем! — сказали Паше.

И совсем забыли, что отцы-учителя французики в девяносто третьем своем году армию не ликвидировали. В девяносто третьем своем году они армию создали — такую армию, которая не только Францию отстояла, но которая потом прошла по Европе и даже посетила город Москву.

— Есть ликвидировать, чтобы ничего там не ликвидировала! — сказал Паша.

В рамках организационно-штатных мероприятий по выполнению вышеозначенного приказа пригнали Сереге металлолом, а потребовали у Сереги абсолютно готовую к боевым действиям технику.

— Я не дам, товарищ генерал! — сказал Серега. — Вся

техника отремонтирована, обкатана, пристреляна, запас горючего — на три заправки, боезапас — три комплекта. Полк готов выполнить любую поставленную командованием задачу!

— Молодец, полковник! Задача командования такая: передать всю технику вместе с тремя заправками горючего и тремя комплектами боезапаса вот по этой описи вот этому представителю командования и принять новую! — сказал заместитель командующего округом .

— Вы не поняли, товарищ генерал! Полк готов выполнить задачу. Полк, а не мотострелки, оставленные без техники и боеприпасов! — сказал Серега.

— Ну, ты это, полковник, ты тут того, Съезд народных депутатов тут нам не строй! Тут нам не демократничай! Раздемократничались тут, понимаешь! Бардак развели вместо армии, понимаешь! Свою технику сегодня же сдать и принять новую! — сказал заместитель командующего.

— Я полк без техники не оставлю, товарищ заместитель командующего! — сказал Серега.

— Ты что, полковник! Ты русского языка не понимаешь? — закричал заместитель командующего.

— Все понимаю, товарищ заместитель командующего. Потому и не даю свою технику, что новая, как вы ее называете, техника — это обыкновенный металллом. Я ее смотрел! — сказал Серега.

— Ты вот что, полковник! А на что тебе техника? Ты же пехота! Как в старину говорили: «Пехота! Сто верст прошла — еще охота!» — заделал обходной маневр в виде шутки заместитель командующего.

— Согласен, товарищ генерал! Но с условием, что в такой пехоте вы будете у меня заместителем! — тоже сделал маневр в виде шутки Серега.

— Ну, вот что! — побагровел заместитель командующего.

— А вы почему кефир не кушаете? Что? Не любите? — просверлил Серега багрового заместителя командующего своим васильковым взглядом и известной фразой актера Фрунзика Мкртчяна из фильма «Мимино».

— Да я, да ты, да команд... да... — захрипел заместитель командующего.

— Вот и я — тоже, товарищ генерал! Разрешите идти? — взял под папаху Серега и пошел себе.

— Полковник! Вернись! — завизжал заместитель командующего.

Серега, не оглядываясь, махнул рукой, типа, отцепись. Нагорело у Сереги за девять перестроечных лет так, что не

только краска полопалась и поползла, как с загоревшегося бэтээра, а уже, как со сгоревшего, посыпалась с Сереги окалина.

– Вернись! Ты Родину предаешь, полковник! – прибавил визга заместитель командующего.

– А вы ее продаете! – обернулся Серега.

– Под суд пойдешь! Папахи лишишься! Из армии вылетишь! – стал собирать угрозы заместитель командующего.

– Ах, папахи лишусь! – выбрал Серега наиболее ему свежую угрозу, можно сказать, некий литературный образ. – Ах, папахи лишусь! – и, как камешек по воде, метнул Серега свою родную, выслуженную, заместителю командующего под ноги.

А еще говорят, что территория считается занятой тогда, когда на нее ступит пехота. Территория осталась. Серега – нет, как, впрочем, и пехота.

8

Наши офицерики у духов имели цену и стоили все примерно одинаково. Башка советского офицера там стоила примерно триста тысяч афгани. Экономно жить – это семье на шесть лет. Один из советников подарил Сереге духовскую листовку.

– Какой размер у твоего головного убора? – спросил.

Серега сказал.

– Вот тут написан другой. Тут написано, что со своей башкой ты в вертушку не влезешь! – сказал советник.

– И какой? – спросил Серега.

– За сбитую вертушку духу полагается лимон, то есть миллион. А за тебя, вот, смотри, – советник ткнул пальцем. – Вот отметь тут карандашиком. За твою голову объявили миллион двести!

– Это не есть хорошо! – сказал Серега.

А потом показал листовку Валере Шабурову, Герою Советского Союза и командиру эскадрильи вертушек, который, кстати, помогал вытаскивать замполита седьмой серегиной роты. Только Валера рискнул и посадил свою машину там, где, по всем законам природы, она не должна была быть. Наводил Серега сам, сказав, что, если что, так отвечать за все враз.

– Ты больше никому не показывай эту листовочку. По моему – это больше, чем за самого командующего! – в шутку сказал Валера.

— Екарный бабай! Может, мне сразу духам сдаться! — тоже в шутку сказал Серега.

— Погоди. Еще повоюем! — сказал Валера.

— Повуюем, дружище! А что нам еще делать остается! Ничего иного не умеем! — сказал Серега.

Валера улетел. И пока минуту Серега провожал его взглядом, улетевшего, почему-то вспомнил, как у него год назад на блокпосту при посадке свалился в ущелье вертолет. Серега едва не перекрестил Валеру вдогонку. Костя Кравец, замполит, одно время имел моду каждое утро креститься. Серега увидел.

— Ты что, замполит! — васильково уставился Серега.

— А что, командир? — спросил Костя.

— Вот это сейчас ты что делал? — повторяя движения Кости, перекрестился Серега.

— Это? — как бы удивился неосведомленности боевого друга и командира Костя. — Это я перед тем, как начать рабочий день, проверяю: кокарда на месте, ширинка застегнута, заветный патрончик в правом нагрудном кармане, партбилет — в левом. А ты что подумал, командир?

— Подумал! — сказал Серега.

Летел Серега домой, в Ташкент, в одном самолете с ребятами, зашифрованными под гриф «двухсотые», и клевал носом — так хотелось Сереге спать, так он не чувствовал рядом двухсотых ребят.

Некогда якобы собрались несколько пустынных на совет. Пустынные — это не жители пустыней Гоби, Сахары, Калахари, Кара-кум. Это монахи, для вящих трудов Богу ушедшие в уединенные места — нечто вроде хорошей засады батальона Сереги.

Собрались они на совет.

— В наши обители, — сказали, — стала прокрадываться слабость нравов. В некоторых старцах уже нет той чистоты и веры, какая была заповедана Господом и какая была у первых.

Один сказал:

— Так ведь, братие, и мы сейчас, возроптавши, уже нарушаем заповеданное Господом!

Другой сказал:

— Если мы не будем роптать, брат наш, следующие за нами будут еще менее выполнять заповеданное Господом. Но мы будем для них теми старцами, которые для нас сейчас являются старцы первозаветные. И так будет со следующими, которые будут исполнять заповеди Господни еще менее, но своих предшественников, то есть нас, будут почитать как

первозаветных. Так наступит время, когда нравы иссякнут и наступит безнравие, почитаемое за нравы. Чистота и вера иссякнут, наступит нечисть и безверие, почитаемые за чистоту и веру!

Первый сказал:

– Но ведь это есть мудрствование, братие! Мы есмь гордынею обуяемы!

Второй сказал:

– Равно же и ты еси, так судящий!

Двухсотые ребята вернулись к Сереге потом и остались у него в батальоне, потом в полку, потом на гражданке сводным взводом с прапорщиком Виталиком Селезневым на правом фланге и с единственной боевой задачей, которую им ставил уже не Серега. А Серега покрестился – покрестился за себя и за всех двухсотых ребят на тот случай, если там, чему он покрестился, что-то есть, то эту задачу опять же исполнять ему и его пехотному батальону. Ибо есть непреложный закон, по которому территория занята армией только тогда, когда на территорию ступила пехота.

Далекo, далекo, далекo моё детство,
 Сколькo зим, сколькo лет у меня на счету! –
 А на русский простор не могу наглядеться,
 Всё гляжу и гляжу на его красоту...
 В путь-дорогу пора перелётному клину.
 Полегли камыши на глухих рукавах...
 Не печалься, мой край, я тебя не покину,
 Я в России живу не на птичьих правах.

* * *

Не искал, где живётся получше,
 Не молился чужим парусам:
 За морями телушка – полушка,
 Да невесело русским глазам!
 Может быть, и в живых я остался,
 И беда не накрыла волной
 Оттого, что упрямо хватался
 За соломинку с крыши родной.

* * *

Проснулся я от солнечных лучей.
 Цвела трава.
 В России было лето.
 Как хорошо, что этот мир – ничей:
 Ходи, дыши, и нет тебе запрета.
 Как хорошо, что кто-то нам сберёт
 Земной простор –
 леса, озёра, тучи!
 Любимая не пустит на порог –
 Не плохо и на камушке горячем.
 Спешу к земле,
 как к матери родной,
 От всех своих досад и треволнений
 И возле каждой нивушки ржаной
 Надолго опускаюсь на колени.

* * *

Собрать бы последние силы,
 Склониться над белым листом
 И так написать о России,
 Как пишут о самом святом.
 Она тебе зла не попомнит.
 Попросишь прощенья – простит.
 Настанет твой час – похоронит.
 Придет пора – воскресит.

Александр ШАЛОБАЕВ

РОДИНЕ МОЕЙ!

* * *

Россия, Рось, Русь, рысь —
Узорочье, да кровельки тесовые...
Только близко к клетке не становись
И пальцы сквозь решетку не просовывай...

* * *

Занесенный белым снегом
Танкодром вдали забрезжил.
Часть земли сливалась с небом,
И земля казалась меньше,
И земля казалась домом,
И родными были дали,
Там, за зимним танкодромом...
Ну, а мы по ним стреляли.

КОЛЧЕДАН

Берега расстелены,
Как половики:
Рыже-черно-зелены
По бокам реки.

Колочки да сопочки,
Травки с ветерком!
Скину я кроссовочки,
стану босиком!

Пусть наколет ноги мне
Простачок-пырей:
Я, друзья, на родине,
Родине моей!

ГОРОД

Следователь думает над фактом,
Сторож попивает крепкий чай,

Медицина борется с инфарктом,
И посуда бьется невзначай,

По ночам в квартирах плачут дети,
Им не нужно, чтоб кончился день,
Тополя отбрасывают тень,
И ее подхватывает ветер.

Парочкам, спешащим на концерт,
Ветер щеки и носы надраит,
И троллейбусы привозят в центр
Свежий воздух городских окраин.

А над этим, в дыме заводском,
Колоссальный, мерзкий и ужасный,
Реет фиолетовый фантом
С чешуей из кнопок ярко-красных.

Евгений БУНТОВ

РУССКАЯ ДУША

* * *

Впрок
тоски запасено,
память омутом
глубока...
Не в небесном,
а в земном
рассмотреть
хотелось Бога.

Пыль-дорога
в два конца.
Под рукой
раздумий посох.
Сына, Духа и Отца
догоняй
ногою босой!

Как краюху,
раскроши
сердца стук

по светлой роще,
где Расеюшка
лежит,
разбросав
святые мощи.

* * *

Под сердце вековая грусть
осыплется с икон...
Забормотала баба-Русь
не русским языком.
Куда тверёзый взгляд не кинь —
не сохранён завет.
Иноязычья сорняки
заполонили свет.

Рыдают пращуры с небес
росой напрасных ран —
талдычит простодушно: yes! —
непомнящий Иван.

Не ведая, что смех, что грех,
всё спустим — до гола!
Объедков хватит не на всех
с заморского стола.
К зиме берёзу — на дрова...
А сердце чуда ждёт.
Кинь, Матерь Божья, покрова!
...За окнами метёт.

РУССКАЯ ДУША

Ой, ты русская душа,
ты куда свой правишь шаг?
Век за веком — напролом! —
в бездорожье, в бурелом...

Ой, ты русская душа!
На тебе нет не шиша.
Не отнять и не продать:
пыль да Божья благодать.

Ой, ты русская душа —
Кривды с правдою межа.

От себя самой бежишь
да ничем не дорожишь.
Ой, ты русская душа...
Вражьим взмахом палаша
распоясан твой простор —
Богородицы Престол.

Ой, ты русская душа!
Маясь, каясь да греша,
всё в себе ты уместишь.
Всё претерпишь, всё простишь.

Ой, ты русская душа...
За тобою ни гроша.
Ни гроша — лишь Бог един
спит младенцем на груди.

Ой, ты русская душа.
Нету силы удержать
на ветру твои крыла...
Только б русской ты была!

* * *

Руси забытый голос древний
почудится — свечой сквозь мрак —
где тело вымершей деревни
с размаху брошено в овраг.

Что мне до скорби этой давней?
Но вниз спускаюсь не спеша.
И в заколоченные ставни
стучится
ласточкой
Душа.

ОДА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Край земли — это здесь.
Хоть простора бескрайнее нет.
Здесь столичный указ —
скверный слух, перекроенный на семь.
И Европа об Азию,
выгнув уральский хребет,

спотыкается тупо,
роняя раздумия наземь.
Край земли — это здесь!
Через поры созвездий дыша,
русских изб чернота
прижилась на раскосых заглавьях.
В полупьяных кружа полустанках,
играет душа
чередой колокольной
казачью удаль — во здравие!

В бесприютных верстах
здесь завязли века — на века.
Как останки царей,
Как молитвенной правды остатки...
И бредут облака,
до дождей растирая бока,
здесь, о кромку земли,
ни одной не нарушив загадки.

Игорь САХНОВСКИЙ

МАЛЬЧИК, ПЕВИЦА И ФАТА-МОРГАНА

Я родился в такси. В нашем городе в те годы поездка на такси была редкой, малодоступной роскошью. Заведомо невыгодных клиентов водители игнорировали, как лиственный мусор на обочине.

Но отец сказал надменному таксисту, что в случае чего может расшибить ему башку. Опыт расшибания голов у отца уже имелся, как и отсиженный за это срок. Благодаря такому обстоятельству моя мама успела родить не на пыльном асфальте улицы Советской, а на заднем сиденье автомобиля «Волга».

Когда мне было три месяца от роду, отцу вдруг захотелось понынчить сыночка, он взял меня на руки и вышел на балкон. Мы жили на четвёртом этаже панельной пятиэтажки. Был воскресный день. Пока отец нянчился, он успевал одновременно отхлёбывать из бутылки «Жигулёвское», прикуривать папиросу и громко обмениваться впечатлениями о погоде с соседом, который стоял под нами, на балконе второго этажа. К счастью, сосед в ту минуту пива не пил и руки у него были свободны. Поэтому, когда отец меня выронил, сосед не проявил особых чудес ловкости – он просто поймал запелёнатую вещь и сказал три слова: «Вот это класс».

Не знаю, как тот полёт повлиял на трёхмесячный организм. Скорей всего, никак. Зато всю жизнь, почти регулярно мне снится один и тот же сон: я выпадаю из чьих-то родных небрежных рук, лечу вниз, готовый убиться, но кто-то чужой внезапно ловит меня и прижимает к себе.

Незадолго до того как отца посадили в очередной раз, в семье было два счастливых момента, совпавших с двумя покупками – швейной машины «Подольск» и застеклённого полированного серванта. Обе вещи привезли из комиссионного магазина и поставили на почётные, раз и навсегда отведённые места. Мне запомнилось, как отец сишло дыхнул на полировку, протёр запотевшую дверцу рукавом и твёрдо пообещал: «Ну, вот теперь поживём».

Мама говорила, что полёты снятся, когда человек растёт.

Может быть, это и правда, но про какого-нибудь другого человека. Потому что, несмотря на летательные сны, в тринадцать лет я перестал расти — вообще перестал. Так и остался на вид подростком, учеником шестого или седьмого класса. Меня даже не взяли в армию из-за недостаточного роста и веса. Кому это понравится, если тебя в любом возрасте называют мальчиком? Поначалу сильно доставало, потом я привык.

Наш дом стоял в окружении барачных построек до войны. Одно время я был уверен, что жить в бараках достойны только очень специальные люди. И у меня вызывали острую зависть их специальные романтические возможности — носить в бидонах воду из уличной колонки и ходить на улицу в общий туалет.

К тому же так совпало, что в этих бараках обитали два главных человека моей жизни. Первым человеком была Полина, вторым — Натан Моисеевич.

Сначала про второго. Соседи по двору дружелюбно обзывали Натана Моисеевича «жидом на колёсиках». Он ездил в инвалидном кресле-каталке, которое постоянно ломалось. Раза два я замечал с балкона, что Натану Моисеевичу не удаётся взъехать на своё барачное крыльцо, и оба раза я сбегал вниз, чтобы ему помочь. Помогать было приятно, но в то же время как-то неловко. Не хотелось, чтобы во дворе это кто-нибудь увидал.

Потом он позвал меня в свою берлогу. Там странно и вкусно пахло горелым шоколадом, не было ни одного полированного серванта, но стояли целые утёсы из книг.

Я спросил, почему его называют жидом. Он сказал, что это не совсем справедливо. Правильнее будет сказать: вечный жид. И пояснил, что быть вечным жидом — это вроде наказания для человека, который в своё время из вредности отказался помочь Христу. Тут я его по-пионерски строго перебил:

— А разве бог есть?

— Есть, конечно. Только он сам об этом часто забывает.

Вот как раз от вечного жида я потом узнал самые потрясающие тайны. Но сейчас не буду забегать вперёд.

О Полине я мог бы говорить бесконечно, но мог бы и смолчать под любыми пытками, потому что это моя пожизненная возлюбленная. Хотя любовь у нас немного необычная. Чтобы это понять, желательно знать сказку про Снежную королеву. Там мальчика по имени Кай похищает высокая белоснежная женщина — прямо на улице зимой. И

тогда Герда, его подружка, вся такая преданная и правильная, отправляется вызволять Кая.

Мы с Полиной посмотрели этот фильм (в одном кинотеатре и двух домах культуры) не менее шести раз. И пришли к выводу, что Герда здесь явно третья лишняя. Нет, она, конечно, героически верная подруга и всё такое, спасибо ей. Но похищенного Кая совершенно не требовалось вызволять. Точно так же, как и меня. А то, что Полина была вылитой Снежной королевой, разглядел бы даже слепой.

Мы не ходили по улицам вдвоём, а встречались, как тайные агенты.

Она ни разу не согласилась прийти ко мне домой в отсутствие матери. Говорила: «С ума сошёл? Так будет неприлично». Поэтому свидания мы устраивали в бараке, в её комнате, когда отец и мачеха Полины уходили на работу. Во время свиданий мы всегда делали что-нибудь такое, чего нельзя было видеть никому. Например, ложились на диван, обнимались и дышали друг другу рот в рот.

Кроме того, мы вели секретные разговоры.

Мне нравилось говорить об ужасающе далёком будущем, а ей — только о прошлом. Я начинал: «Вот представь. Допустим, через тридцать лет. Это какой уже год будет?..» Она брала карандаш, бумагу в клетку и складывала столбиком: «Ого. Две тысячи двенадцатый. Следующий век. Таких годов-то не бывает».

Ей было глубоко наплевать на следующий век: ну что там может быть интересного? Сплошная техника и дизайн. Она считала, что, оказись я в две тысячи двенадцатом году, я стал бы там дизайнером. Это ещё куда ни шло. А ей самой пришлось бы ходить на работу куда-нибудь в сберегательный банк. Такую нелепость я тоже не мог вообразить. Полина мечтала только о старинном прошлом.

Весной на ближнем пустыре случилось счастье в виде заезжего цирка-шапито. Каждый вечер я перелезал через оградку, составленную из металлических сеток, типа кроватных, занывивал под брезентовый полог военно-защитного цвета и ни разу не был пойман.

Там был один роскошный соблазн, с которым не могли сравниться ни полуголые сёстры Вольф, блистающие под куполом серебряной чешуёй, ни туркменские джигиты под управлением Давлета Ходжабаева — эти грозно кричали, гоняя по кругу тяжёлые волны конского пота. После антракта, во второй части спектакля резко замолкал оркестр, выключали свет, и громовой голос объявлял: «Гений

иллюзиона! Престижиджитатор мирового класса. Встречайте! Мистер Икс!» Потрясение начиналось вот с этого мучительного слова «престижиджитатор», ещё до того, как маленький (ростом с меня) человек во фраке и маске торжественно выводил на арену красавицу лет сорока, в глубоко декольтированном платье из золотой парчи, укладывал в тесный гробик и не менее торжественно распиливал на три равных куска. Гений иллюзиона действовал как бы нехотя. Исполнив пять-шесть небрежных манипуляций, он с каменно строгим лицом уходил никуда, в отдельно стоящую фанерную дверь.

После каждой вылазки в цирк-шапито меня так распирало, что я не знал, куда себя девать. Ни мама, ни Полина мой восторг не разделяли. Но мне надо было хоть с кем-то поделиться первыми догадками о своём будущем. Поэтому, давясь от восторга, я поговорил с вечным жидом. Его ответ меня смутил и озадачил. Натан Моисеевич сказал, что публично распиливать женщин в блестящих платьях — это пошлость. Я защищался: дело ведь не в женщинах и не в платьях. Он сказал: «Ага, понятно. Ты хочешь всем показать чудо». Я сказал: «Да». — «Тогда выбери подходящее чудо и научись его делать».

Весь следующий месяц я ломал голову над выбором подходящего чуда. Я думал об этом, сидя в школе на тоскливых уроках, шатаюсь в одиночестве по улицам, думал даже во сне. Единственной идеей, которая пришла мне на ум, был прыжок с балкона, с нашего четвёртого этажа. Но я слегка сомневался в результате.

На мою просьбу заказать самое желаемое чудо Полина ответила как о деле решённом: «Отправь меня куда-нибудь в Англию, в семнадцатый век. Ну, в крайнем случае, в восемнадцатый». Я пообещал обдумать этот вопрос.

Всё лето вечный жид болел, поэтому иногда просил меня сходить в магазин за продуктами. Конечно, я покупал только то, что он поручал, но ему, видно, хотелось покапризничать: «Опять кефир! Опять плавленый сырок...» Иногда он баловал себя кильками в томате. Растворимый кофе и докторскую колбасу, по его словам, страна припрятала для более достойных своих сынов.

Когда Натан Моисеевич спросил, выбрал ли я подходящее чудо, мне было нечем похвастать. Наконец, он сжалился: «Ну, давай вместе выберем. Лучше всего это делать наугад».

Взял книгу, засаленную до тряпичного состояния, и прочёл на первой же открывшейся странице:

— Так, значит. «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Понял?

— Понял. Чего тут не понять?

— Что именно?

— Ну, что богатым туда вход запрещён.

— А про верблюда? Ты как-то невнимательно слушаешь. За богатых можешь не беспокоиться. Слушай ещё раз: «Удобнее верблюду пройти...» Удобнее! Вот тебе чудо номер один.

У меня вспотели обе ладони. Я даже боялся спросить, знает ли он — как? Как это делать? Конечно, он знал. Но, прежде чем рассказать, он заварил себе чифирь, полпачки грузинского чая на одну фаянсовую кружку, и хлебал, постанывая, чуть не полчаса. Я погибал от нетерпенья.

— Значит, запоминай. Берёшь обычную нитку, метра два-три. Берёшь иголку.

— Тоже обычную? Или цыганскую? Она всё-таки побольше.

— Ну, можно цыганскую, без разницы. И берёшь дромадера.

— Дромадер — это что?

— Не что, а кто. Одногорбый верблюд. В крайнем случае, с двумя горбами тоже подойдёт. На шее верблюда завязываешь нитку петлёй. И только после этого начинаешь постепенно вдевать в иголку. Значит, один конец нитки — вокруг шеи, другой — в игольное ушко. Теперь самое главное...

Рассказывая, Натан Моисеевич каждую минуту прерывался и предупреждал: никому! Об этом способе никому ни слова. Иначе сам не сумею повторить.

— Зачем же вы мне сказали??

— Мне больше не понадобится.

Дома я утянул у матери чёрную катушку с иголкой и только потом сообразил, что в нашей местности дромадеров нет и не предвидится на сотни километров вокруг. Тогда, в нарушение правил, я решил устроить репетицию с участием старой хромоногой лошади, которая летом паслась невдалеке от трамвайного кольца, на задворках домов частного сектора. Но в самый последний момент, уже завязав нитку на понурой гнедой шее, я был застигнут и оскорбительно обруган женщиной в телогрейке и резиновых галошах. Самое мягкое, что она сказала: «Такой маленький, а живодёр».

Осенью, в ноябре умер Брежнев. Он правил нашей

огромной страной так давно, что уже производил впечатление бессмертного. По телевизору, конечно, объявили всемирный траур, но никакого особого горя я вокруг не замечал. Над генеральным секретарём уже устали подсмеиваться, над его орденоносным величием и неповоротливой речью. Если какой-нибудь надоедливый остряк вместо «систематически» говорил «сиськи-масиськи», то всем с полуслова было понятно, кого он имеет в виду. Брежнев раздражал даже мою кроткую маму, которая, кажется, ничего не видела, кроме своей швейной машинки «Подольск». Мама работала медсестрой в больнице, а вечерами допоздна шила под заказ какие-то сатиновые блузки и трусы. Отцовского возвращения, как я понял, она уже не ждала.

Насчёт траура Натан Моисеевич печально сказал:

– Ну, началось. Теперь эти старички посыплются один за другим. А после них придёт более молодой и языкастый. Но лучше-то всё равно не будет.

Я спросил:

– Почему лучше не будет?

– Потому что у нас в стране нету ничего дешёвle, чем обычный человек. Родину мы, конечно, обожаем и государством гордимся прямо до слёз, зато людишки у нас расходуются легче спичек или гвоздей.

На мой тогдашний взгляд, мироздание в целом выглядело как-то ненадёжно. Главная сложность заключалась в том, что я никак не мог наметить жизненную цель. А намечать надо было срочно, потому что, казалось, ещё немного — и всё, жизнь окажется бесцельной. Я читал всё подряд, что попадалось на глаза, но любая прочитанная книжка только усиливала эту боязнь опоздать. Школьные уроки увлекали не больше, чем бледно-розовый, линялый транспарант «Слава народу!» на фасаде городской бани. По маминной просьбе я с удовольствием освоил технику шитья на подольском агрегате, но трусы и блузки в мои планы точно не входили.

Полина окончила школу раньше, чем я, и теперь училась в музыкальном училище на певицу. Хотя она и без училища умела петь так, что у меня по всему телу пробежал миллион мурашек. Ей хватало один раз послушать любую запись на пластинке или по радио, чтобы сразу безошибочно повторить или спеть по-своему, даже лучше. Когда Полина хотела что-нибудь обругать, она говорила: «Это примерно как София Ротару, такой же кошмар». Иногда она

уговаривала меня спеть на два голоса, я стеснялся и отнекивался, потому что медведь на ухо наступил, но, в конце концов, мы всё-таки пели что-нибудь простенькое, например «Девушку из харчевни»:

...И если ты уходил к другой
Или просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде.

Когда же, наш мимолётный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно того, что гвоздь
Остался после плаща.

Тут я втайне сожалел, что мимолётный гость — это не я.
И ещё была одна песня про караван, в которой Полина
больше всего любила концовку:

Право, уйду! Наймусь к фата-моргане.
Буду шутом в волшебном балагане,
И никогда меня вы не найдёте,
Ведь от колёс волшебных нет следа .

Я пропускал мимо ушей «волшебные колёса». Но вот это обещанье: «И никогда меня вы не найдёте», произнесённое Полининым голосом, спетое в моём присутствии много раз, вызывало сокрушительное чувство ненадёжности: моя пожизненная любовь признавалась, что хочет уйти туда, где её не смогут найти. Куда-нибудь на три века назад, подальше от всех. А значит, и от меня.

Если не путаю, в следующем августе я случайно узнал, что в соседний Сорокинск прибыл передвижной зверинец. На тот момент я уже получил школьный аттестат и был принят на работу художником-оформителем в маленькую химчистку, которая громко называла себя «Комбинат Чистоты». Оформительским искусством я овладевал на рабочем месте. Мне давали ватман, гуашь и стихи, сочинённые лично директором химчистки, чтобы я начертил крупно и выразительно:

Польты, шубы и одежда
Будут чистыми, как прежде!

Часть заработка я отдавал маме, часть оставлял себе, и к

концу августа у меня накопилось 27 рублей. Автобус до Сорокинска шёл два с половиной часа. Я выехал ранним субботним утром, даже не зная, имеется ли в зверинце верблюд, но очень надеясь на это.

Мне повезло: там был настоящий дромадер! Правда, с потёртыми коленками, измученный, похожий на грязную кучу войлока. Дети протягивали ему леденцы и все как один спрашивали, не может ли он вдруг плюнуть? В ответ он только показывал длинные жёлтые зубы и терпеливо переступал с ноги на ногу.

В зверинце я провёл почти целый день. Подружиться со сторожем-смотрителем оказалось проще простого; гораздо сложнее было отвертеться от совместного распивания водки, которую он купил на мои сэкономленные рубли. После семи вечера, когда посетители разошлись, смотритель открыл вторую бутылку и с радостью передоверил мне свои обязанности.

От верблюда тяжело и удушливо пахло, ему наверно пригодился бы «Комбинат Чистоты», зато он безропотно стерпел все процедуры, которые я выполнял точно по инструкции вечного жида. При сближении с игольным ушком животное чуть не сбило с ног и не растоптало меня. Но это уже мелочи. Главное, что мне всё удалось — даже дважды! После второй успешной попытки смотритель вышел из подсобки и весёло крикнул: «Хочешь покататься? Давай подсажу!»

Домой я приехал почти ночью, а назавтра спозаранку помчался к вечному жиду. Он воспринял мой отчёт об эксперименте очень спокойно, как само собой разумеющееся. Кивнул, обстоятельно прокашлялся и с лёгкой насмешкой спросил:

— Ну что, продолжим?

Я сказал: «Да», чувствуя давящий сладкий ужас где-то в солнечном сплетении.

Натан Моисеевич снова заваривал свой чифирь, хлебал, постанывал, листал всё ту же засаленную книгу. Наконец, поднял на меня глаза.

— Тогда слушай: «...Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пицци для всех сих людей? Ибо их было около пяти тысяч человек. Но Он сказал ученикам Своим: рассадите их рядами по пятидесяти. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать

народу. И ели, и насытились все; и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов» .

Мы помолчали. Я был уверен, что сейчас он скажет: «Значит, так. Берёшь пять буханок хлеба и берёшь две рыбы...» Но он сказал:

– Этому научиться труднее, чем выучить китайский язык.

Я ответил:

– Хорошо, я согласен.

Не знаю, как насчёт китайского, но спустя три с половиной недели усиленных консультаций с вечным жидом меня больше всего интересовал вопрос: где мне взять пять тысяч человек, которые согласились бы собраться в одном месте, чтобы сообща поесть рыбу и хлеб?

Как ни странно, ответ на этот шизоидный вопрос подскажет та самая эстрадная дива, Полинин кошмар, народная артистка Ротару, чья афиша мне попадёт на глаза возле столичных театральных касс, когда я перееду на некоторое время в Москву и буду один бродить по громадному заснеженному городу, уже точно зная свою сумасшедшую цель, но пока не видя разумных к ней подступов. На афише будет указана концертная площадка – дворец спорта «Олимпийский», и я скажу себе: «Почему бы и нет? Отличный вариант».

Во мне вдруг выросло столько уверенности, что её хватило бы на четверых, хотя Полина стала смотреть на меня с какой-то непонятной жалостью. Перед моим отъездом она спросила: «Зачем ты едешь? Что ты будешь там делать?» Я сказал: «Наймусь к фата-моргане», после чего был поцелован в уголок рта.

Шутки шутками, но я больше не сомневался ни в жизненной цели, ни в её достижимости. Несмотря на то, что это подразумевало самые несуразные шаги и самые фантастические результаты. Я начал желать только невозможного.

Правда, я упустил из виду одну печальную подробность. То, что вечный жид не вечен. Он угрожающе быстро тощал и темнел лицом, как будто выгорал изнутри. Я всё чаще заставлял его безучастно лежащим на спине. Но он привставал, радуясь моим приходам, становился разговорчивым, пускался в далеко идущие рассуждения, из которых я мало что понимал. Наверно, это непонимание объяснялось тем, что он уже весь был поглощён прошлым, а я – только будущим. Я даже не замечал, что он умирает: ну, просто лежит и болеет, очень пожилой человек.

Возможно, я был последним (если не первым и

последним), кто спросил вечного жида: есть ли у него что-то вроде мечты? Он ответил, что чувствует себя замечательно легко и свободно как раз благодаря тому, что больше ничего не желает. Но всё же, поразмыслив, добавил, что, если бы имел возможность, то съездил бы в Касабланку и забрал у одного придурка уникальную, драгоценную вещь – подарок Бледного Лиса.

Я, конечно же, начал выспрашивать подробности и услышал целую небольшую лекцию, из которой запомнил вот что.

Бледный Лис – главное божество у догонов, маленького бедного народа, который живёт племенами в Западной Африке, на плато Бандиагара. Эту местность так и называют: земля догонов.

Сейчас у большинства нормальных народов календари, мифы и старинные праздники связаны с космическими циклами – лунным или солнечным. Но для догонов законы Луны и Солнца словно бы не имеют значения. Догоны как будто свалились с Сириуса. Уже девять или десять веков – только раз в 50 лет – они устраивают пышные торжества, напяливают специальные маски и чествуют Сириус. Точнее говоря, даже не Сириус, а его спутник – Сириус Б. Вот эту крошечную звездочку (они её зовут звездой По), практически невидимую с Земли, догоны с древних лет знают едва ли не лучше, чем сегодняшние учёные-астрономы.

Непонятно, откуда взялась информация, но эти люди из африканской глуши, из примитивного, почти первобытного племени с полной уверенностью заявляют: «Звезда По – самая маленькая и самая тяжёлая из всех звёзд», знают её историю, как она возникла от взрыва и прочее. А учёные только в 1970 году с помощью сильного телескопа смогли её сфотографировать. Теперь уже известно, что этот «белый карлик», размером чуть больше Земли, настолько тяжёлый, что у него один кубический метр весит двадцать тысяч тонн. И ещё доказано, что Сириус Б делает полный виток вокруг Сириуса как раз за 50 лет.

Я спросил:

– А с чего вдруг они эту звезду чествуют?

– Потому что якобы оттуда к догонам спускался верховный бог Йуругу, он же Бледный Лис.

Тайными сведениями о визите Бледного Лиса сейчас владеют только олубару – специальная каста жрецов. А уж те странные подарки, которые он после себя оставил, о них-то не знает почти никто.

– Откуда же вы знаете?

— Я просто умею читать. Всё, что нам хотелось бы узнать, уже где-то записано, даже не по одному разу. Надо только открыть правильную страницу.

Меня опять трясло от нетерпения:

— Что это за подарки?

— Обо всех не скажу, но там был один изумительный предмет, что-то наподобие ящичка, его потом стащил кто-то из родичей олубару и увёз в Касабланку. Надо будет мне потом как-нибудь адрес уточнить. Говорят, что эта вещь способна управлять временем.

Как всегда, сказанное вечным жидом выглядело небылицей, но звучало непреложно, как закон.

Год, проведённый в Москве, стал для меня годом позорных компромиссов. То, чем я зарабатывал, в мире советской эстрады называлось лёгким жанром. С восьмой, кажется, попытки мне удалось влиться в один жалкий концертный коллектив, который сопровождал столичные и гастрольные выступления малоизвестных певцов и певичек. До этого меня упорно отсылали в шоу лилипутов.

Позорными компромиссами я называю то, что мне пришлось по-быстрому освоить: распиливание парчовой красавицы на три равных куска, добывание живого голубя из кастрюли с кипятком, ловлю трассирующих пуль и, наконец, ложную левитацию над прозрачным столом из органического стекла.

В своё оправдание могу только сказать, что истинную левитацию я тоже сумел освоить — правда, частично. То есть мне удавалось повиснуть в воздухе где-то секунд на двадцать, но это обычно прерывалось очень болезненным паденьем на пол или на стол.

Незадолго до своего рискованного эксперимента в «Олимпийском» я познакомился с журналистом-англичанином. Его звали Малкольм, он был корреспондентом газеты «Saturday Revue». Мы два раза одновременно обедали в тихом, пустом ресторане гостиницы «Дружба» на проспекте Вернадского, а в третий раз как-то легко разговорились и продолжили знакомство прогулкой по весенней Москве. Его русский был немного лучше, чем мой школьный английский. Малкольм признался, что страдает из-за двух вещей: нехватки новостей, достойных репортажа, и слежки — не то вымышленной, не то реальной — со стороны КГБ. Он всё переспрашивал, не боюсь ли общаться с иностранцем и того, что за нами, возможно, следят. Я боялся, но не очень. Просто мне было не до этого.

Чтобы утолить журналистский голод Малкольма, я предложил сделать репортаж о вхождении верблюда в игольное ушко, но Малкольм хмыкал и вежливо кивал, будто я звал его слетать на созвездие Пса.

По удачному совпадению как раз накануне, после долгих согласований мне разрешили выступить в «Олимпийском» на так называемом разогреве у одной певицы, которая с одинаковым успехом выкрикивала в микрофон комсомольские лозунги и любовные признания. Организаторов концерта, думаю, прельстило то, что я отказался от гонорара — от них требовалось только обеспечить реквизит: побольше одноразовых тарелочек и двенадцать штук объёмных картонных коробок. Пять хлебов (белые батоны) и две рыбы (скумбрию холодного копчения) я купил сам.

Когда я вышел на арену с полной продуктовой сумкой, несколько тысяч зрителей зааплодировали с простодушной готовностью, как дети при виде долгожданного клоуна. Ведущий предварил моё выступление каким-то шутовским конферансом: дескать, угощайтесь, дорогие гости!.. Дальше я не запомнил, поскольку старался всеми силами сосредоточиться на шестнадцати пунктах, продиктованных вечным жидом; особенно меня волновали восьмой и девятый, на которых нужно было забыть вообще обо всём. Вот я и забылся — до такой степени, что сам пришёл в ужас от невообразимого, буквально промышленного количества копчёной рыбы и белых батонов, от панической беготни взад-вперёд охранников и рабочих сцены, которые не успевали складывать в коробки всю эту съедобную прорву и относить к трибунам, где уже начинались давка и ажиотаж.

В конце концов, я оттуда сбежал, не дожидаясь последствий, и на выходе из дворца спорта меня догнал Малкольм, который наблюдал устроенную мной продуктовую вакханалию с первого ряда, а теперь не находил слов, чтобы выразить свой восторг. Он только восклицал: «Это потрясающе! Не могу поверить».

Я чуть не терял сознание от усталости, как будто разгрузил вагон кирпичей, к тому же меня тошнило. Малкольм отвёз меня на мою съёмную квартиру, где я беспробудно проспал почти сутки, а потом проснулся от телефонного звонка.

Это снова был Малкольм: теперь у него имелся тройной план. Во-первых, он натравит на меня телевизионщиков из «Би-би-си». Во-вторых, сведёт с влиятельными деятелями «The Magic Circle» — они знают толк в подобных вещах. И, в-третьих, сам с удовольствием сделает репортаж с участием

верблюда.

Задним числом скажу, что затея с «Би-би-си» сорвалась, но не по вине телевизионщиков, а по моей собственной: роль экранной знаменитости меня интересовала меньше всего.

Чтобы заснять на кинокамеру процесс вхождения верблюда куда надо, мы с Малкольмом нарушили три с половиной статьи советского Уголовного кодекса и дополнили английский язык словом «vzyatka». Поэтому я лучше не буду вдаваться в подробности нашей преступной подготовки. Скажу только, что для большей наглядности я усовершенствовал метод, привязав к верблюжьему хвосту ещё один кусок нитки; и при замедленном просмотре хорошо видно, как в начале процедуры в игольное ушко входит шейная часть нитки, а в конце – из иглы выходит задняя, хвостовая часть. Эта запись (съёмка в «Олимпийском» Малкольму почему-то не удалась) и статья в «Saturday Revue» станут решающими аргументами для исполнительного секретаря «Магического круга», который немного позже направит запрос в Министерство внутренних дел, благодаря чему после тягучих ведомственных проволочек я получу так называемое служебное приглашение и буду выпущен в Великобританию. Заботливый московский подполковник несколько раз переспросит, как называется моя специальность, и я, мысленно корчась от недовольства собой, отвечу:

– Артист лёгкого жанра. Фокусник, циркач.

До этого отъезда случится ещё несколько вещей, крайне важных для моей жизни. Летом, вернувшись ненадолго в родной город, я уже не застаю там вечного жида. Полина, которая навещала его дома и в больнице, передала мне короткую записку, похожую на шифровку с того света: старик и оттуда мною руководил.

Вот что он накарябал на половинке тетрадного листа. Синий тупой карандаш, наклон влево, три короткие строки:

196, rue Allah Ben Abdellah, Casablanca

14°20' с.ш. ----> только с моря.

Не бойся! До встречи.

Полина осторожно спрашивала о моих намерениях. Я признавался, что у меня нет планов, отдельных от неё. На самом-то деле спрашивать должен был я, но мне пока не хватало духу. Не так уж это легко и радостно – выведывать у любимой женщины: хочет ли она до сих пор сбежать куда-нибудь в другие страны и другие времена? Или сама идея

побега давно заброшена в туманной области девчочковых грёз? Нет, оказалось, не заброшена. Всё остаётся в силе.

Хорошо, сказал я, договорились. Сначала разберёмся с географией, потом — с историей. И снова был поцелован в уголок рта.

Мне тогда ещё в голову не могло прийти, что очень скоро Малкольм станет участником нашей авантюры, Полина выйдет за него замуж и уедет в Лондон раньше меня. А сейчас я подозреваю, что это было практически предрешено — его мгновенная безоговорочная влюблённость (мы вдвоём встречали поезд на Казанском вокзале в её первый московский приезд) и наша с Полиной обоюдная неловкость: не слишком ли цинично мы используем «третьего лишнего» в своих запредельных планах?

Она так и выразилась, когда во время ужина в кафе Малкольм на пару минут ушёл в туалет, оставив нас вдвоём: «Не слишком ли?»

Я сказал: «Так давай у него спросим. Он сам-то понимает, что мы его используем, что женитьба фиктивная? Во всяком случае, спросить будет честней».

Но Малкольм, уже успевший на днях предложить Полине руку и сердце, отлично всё понимал. Ну, если не всё, то гораздо больше, чем нам казалось. Он посмотрел на неё сияющими глазами и ответил: «Я согласен». Потом с улыбкой добавил, повернувшись ко мне: «Заодно и выясним, что надёжнее — чудо или здравый смысл».

Если кто-нибудь спросит, не слишком ли скоропостижно трезвый, здравомыслящий Малкольм потерял голову от любви, это будет означать, что спрашивающий просто не видел нашу Снежную королеву. Странно было бы наоборот — если бы не потерял.

В первые недели я бродил по английской столице так же одиноко и бесцельно, как по российской. На улицах цвели вишнёвые деревья, а в моём родном городе ещё лежал снег. Я чувствовал себя счастливым изгоем.

Заботами «Магического круга» я мог довольно скоро получить вид на жительство и разрешение на работу, но в целом мои отношения с магами-общественниками ни в какую сторону не двигались и вообще вряд ли имели смысл. Один раз по их просьбе я выступил перед закрытой аудиторией, дважды участвовал в светских чаепитиях.

Когда мои скромные подкожные запасы почти иссякли и стало нечем платить за комнату в Тоттенхэме, я переехал к Питеру, с которым мы познакомились у вокзала Кингс-Кросс:

в том районе он покупал марихуану или ещё какую-то дурь. Питер жил в собственном трейлере в Докленде и, кажется, ничем, кроме дури, не увлекался. Стареющий рокер, гостеприимный пофигист, он очень выручил меня на первых порах, пока я улучшал свой английский, беспорядочно читал книжки и оглядывался по сторонам.

Идею заработка мне подсказал «Оксфам», один из самых дешёвых, благотворительных магазинов. Там одеваются студенты, бедняки и просто желающие сэкономить. Я зашёл в магазин просто так, полюбовался разнообразием одежды, буквально копеечной, но вполне пристойной по виду, вышел на воздух, добрёл до ближайшего парка и сел на скамью. Рядом валялся кем-то оставленный гляцевый журнал о кинозвездах и роскошной жизни. Я листал его без особого интереса, пока не наткнулся на старую чёрно-белую фотографию актрисы Одри Хепберн. Это был кадр из фильма «Завтрак у Тиффани». Но дело даже не в фильме, а в наряде — очень похожее платье, почти не отличишь, я только что видел в магазине «Оксфам» по совсем ничтожной, бросовой цене. Я прихватил с собой журнал, вернулся в магазин и купил то платье, хотя даже не представлял — зачем оно мне? При ближайшем рассмотрении стало ясно: здесь хватит минимальной портновской доделки, чтобы платье стало точной копией киношной легенды.

Швейную машинку «Подольск» я найти не смог, зато на Портобелло у продавца железной рухляди отыскалось вполне исправное антикварное устройство марки «Зингер».

Деньги на «Зингер» мне дал взаймы Малкольм; вскоре я их вернул, и это был единственный случай в моей жизни, когда я брал в долг. Малкольм приехал вдвоём с Полиной к станции метро «Ковент-Гарден», и, когда я сказал, на что мне нужны деньги, Полина улыбнулась так печально, что я чуть не сдох от обиды.

Платье я доделал за вечер, не оставив ни намёка на марку, а назавтра отвёз на ту же Портобелло-роуд и сдал в магазин винтажной одежды, назначив абстрактную цену 100 фунтов. Я попросил у торговца булавку, чтобы приколоть к платью фото актрисы, которое специально вырезал из журнала. Продавец усмехнулся и сказал: «Окау».

Спустя неделю платье никто не купил.

Хозяин магазина развёл руками: «No takers I'm afraid» и предложил снизить цену. Не знаю, какая муха меня укусила, но я свирепо ответил, что за неделю цена подскочила, поэтому давайте исправим на 700.

Через два дня платье купили за 700 фунтов, причём вместе

с фотографией.

Теперь я был вынужден внимательней присматриваться к ассортименту секонд-хэндов и выброшенным глянцевым журналам. За следующие полтора месяца мною были перешиты и проданы в двух магазинах восемь платьев без лейблов, зато со снимками: Греты Гарбо, Авы Гарднер, Жаклин Кеннеди и Мэрилин Монро. Что характерно, Жаклин Кеннеди пришлось переодевать четырежды.

Я отблагодарил Питера, как мог, и ушёл из трейлера на съёмную квартиру.

Теперь можно было подумать о вылазке в Касабланку.

На подготовку я дал себе три с половиной месяца. За это время предстояло накопить денег, получить вид на жительство и попытаться мысленно освоить все неприятные вещи, которых я мог ждать от этой поездки. В том числе, например, своё физическое уничтожение или попадание в марокканскую тюрьму. Даже не знаю, что хуже.

Попутно я сочинил специальный психологический способ, который казался мне правильным: если чего-нибудь сильно боишься, надо прокрутить в голове наилучшие варианты, вплоть до мелких леденящих подробностей, и тогда это, скорее всего, не случится. А если и случится, то по-другому — не так, как воображал.

Страховочная мера, выдуманная прямо накануне поездки, выглядела по-своему логично. Кроме такси с англоязычным гидом-переводчиком, которое должно было встретить меня в аэропорту Касабланки, я заказал ещё одно, дополнительное. Причём исходным пунктом назвал дом 198 по улице Allah Ben Abdellah, то есть к адресу из прощальной записки вечного жида прибавил два условных дома. Расчёт был простой: если мне придётся спасаться бегством, то пусть запасное такси ждёт неподалёку. Заказывать гостиницу я не стал.

Вопреки моим мрачным детальным фантазиям (а может, и благодаря им) всё прошло замечательно, даже весело. Сначала, при выходе из самолёта, мне понравился североафриканский воздух — горячий, сухой и сладковатый. Потом понравилось дребезжащее такси, потрёпанное так, будто весь свой долгий век оно только и делало, что уходило от погонь.

Таксист-араб, он же гид и переводчик, молча курил, не навязывал достопримечательностей, а ждал моих указаний. Я назвал адрес, и мы тронулись. До города ехали минут сорок, обгоняя повозки, запряжённые ослами, мимо

глинобитных домиков, мусорных околиц и чьей-то неторопливой бедной жизни. Сонная от жары Касабланка была заставлена грязновато-белыми невысокими постройками, кое-где торчали отели повыше, на улицах трескучие мопеды лавировали между пыльными авто, как бы изображая спешку. На самом деле этот восточный город давал понять, что спешить, в общем, некуда.

Дом 196 на улице Allah Ben Abdellah был заурядной двухэтажкой, такой же белёсой, как и большинство зданий вокруг. На первом этаже, судя по вывеске, находилось кафе, на втором — по-видимому, жилые комнаты. Я предупредил гида, что, когда мы войдём, от него потребуется ничему не удивляться и как можно точнее переводить разговор.

Изнутри кафе напоминало убогую столовую; в такую же меня когда-то водил отец. Посетителей не было совсем. Возле стойки мальчик-официант в длинном переднике протирал пепельницы подолом. Мы спросили, где хозяин, и услышали, что хозяин спит. Я сказал, что дело срочное — придётся разбудить и позвать. Мальчик нехотя потащился вверх по лестнице. Минут через десять к нам сошёл заспанный чернокожий человек таких устрашающих размеров, что я впервые почувствовал себя достойным кандидатом для шоу лилипутов.

Он поздоровался, оглядел с отвращением своё кафе и позвал нас наверх, в комнату, где только что спал. Стены там были обклеены какими-то слащавыми афишами. Подстилку тухлого мясного цвета, лежавшую на полу, хозяин скомкал и запнул под столик. Нам были предложены кожаные пуфы и чай. Я не стал дожидаться, когда подмороженный мальчик принесёт стаканы, вытертые подолом, и приступил к делу.

Переводчик исправно выполнял свои функции (до тех пор, пока в самый неподходящий момент не упал в обморок).

Для начала я передал большой привет от Бледного Лиса.

Бледный Лис страшно недоволен. Хуже того, он в бешенстве. Поэтому и прислал меня.

Толстяк слушал и кивал с таким видом, будто речь шла о проблемах общественного питания. На всякий случай я решил ему напомнить: Бледный Лис бывает страшен в гневе, он может наслать хаос, тьму, разорение, полицию и распугать всех клиентов.

Хозяин всё так же благодушно кивал. Официант принёс чай с мятой. Я начинал чувствовать себя гнусным шантажистом, но стоял на своём.

Есть только один, последний способ успокоить и

задобрить Бледного Лиса — вернуть его подарок. Это можно сделать через меня.

При слове «подарок» толстяк оживился и сообщил, блеснув глазами, что у него имеются два таких подарка. Он как будто хвастался редким товаром. Тут же из подсобки были доставлены два свёртка, туго стянутые тесьмой полотняные мешочки: один прямоугольный и плоский, другой — поменьше, полукруглый, размером с неглубокую миску.

Я без колебаний указал на первый, и хозяин извлёк из мешка чёрный, невероятно грязный ящик — вроде ящичка из письменного стола, только закрытый, как бы запаянный. Его можно было принять за деревянный, если бы не оплавленные углы и края. Не обгорелые, а именно оплавленные, словно облизнутые.

Хозяин смахнул с ящика пылинку и сказал с большой важностью: «Пять миллионов дирхамов».

Я терпеливо пояснил, что Бледный Лис не нуждается в деньгах и разрешает ему не платить. Мне терпеливо пояснили, что, если я вдруг неправильно понял цену, то самая правильная цена будет пятьсот тысяч, не меньше. Я терпеливо выложил на стол 1000 английских фунтов и сказал, что это единственное, чем бог Йуругу согласен помочь своему бедному сыну. Бедный толстый сын нагло проигнорировал мои деньги и стал укладывать стыренный отцовский подарок назад в мешок.

В эту минуту у Бледного Лиса лопнуло терпенье и он так остервенел, что я вынужден был применить истинную горизонтальную левитацию в положении лицом вниз.

Первым на пол рухнул потрясённый переводчик. Потом хозяин сполз на колени и уткнулся головой в пол, как для мусульманской молитвы, норовя при этом завалиться набок. Не хватало ещё и мне грохнутья третьим прямо на них, но я всё-таки удержался на весу и сумел более-менее плавно встать на ноги. Чтобы растолкать гида, пришлось брызгать ему на лицо остывший чай. Толстяк, казалось, не собирался вставать.

Когда мы вышли на жаркую улицу и сели в наш драндулет, из кафе, как ошпаренный, выскочил хозяин, подбежал, теряя шлёпанцы, к машине и сунул мне в приоткрытую дверцу второй мешок. При этом он слабым голосом повторял слово «шукран» .

О запасном такси я даже не вспомнил.

По дороге в аэропорт мне захотелось разглядеть содержимое второго мешка, и я наткнулся там на странный

предмет. Это был кусок черепа, точнее, нижняя челюсть — возможно, человеческая. Говорю «возможно», потому что она была человеческой только по форме, но в то же время заметно крупнее, чем у любого нормального взрослого человека.

Позже я показывал эту вещь некоторым знатокам, пытаюсь выяснить происхождение, но ничего внятного так и не узнал. Раза два или три мне предлагали продать её за приличные деньги. А полгода назад я подарил её писателю И.С., с которым познакомился в аэропорту Шереметьево, где мы целую ночь пережидали нелётную погоду .

Впечатлительный таксист тряс мне на прощанье руку и просил передать Бледному Лису огромный привет. Я заплатил парню и пожелал удачи на дорогах.

Меня беспокоил таможенный досмотр, однако на мои трофеи даже не обратили внимания.

По возвращении из Касабланки я попытался отмыть чёрный ящик от грязи, мне это частично удалось; но я заметил, что даже под прохладной струёй ящик ощутимо нагревался, то есть делался горячее воды, и, казалось, слегка вибрировал. Если приглядеться, на одной из его узких боковых граней можно было увидеть две равноудаленные вертикальные царапины — они как бы делили ящик на три условных отсека, при этом он всё же выглядел монолитным, цельным куском дерева с оплавленными углами и рёбрами. Сильнее других был повреждён один угол, как если бы крайний из трёх отсеков что-то прожгло изнутри, а два других остались нетронуты.

Я не знал, как пользоваться этой вещью, она пугала меня своим присутствием, не давала спокойно спать. Никаких инструкций и подсказок, помимо записки вечного жида, я не имел. Давно зная наизусть, я каждый день вынимал и перечитывал её.

Мне оставалось допустить, что первая и вторая строчки в записке прямо или косвенно связаны между собой: адрес плюс адрес, два географических пункта. Я купил большую, подробную карту мира, расстелил на полу и с помощью линейки отсчитал между параллелями 14 градусов и 20 минут северной широты. По этой длинной горизонтальной линии, выделенной карандашом, я полз то по-пластунски, то на четвереньках, вчитываясь во все названия, пока не уткнулся в грузный оттопыренный выступ Западной Африки. Там, на розовом лоскуте, помеченном именем Mali, меня и поджидало слово Bandiagara , слышанное единожды — но точно слышанное! — в бараке у старика.

Уже, наверно, в сотый раз я вынул и развернул записку:

14°20' с.ш. ----> только с моря.

Теперь в этой строчке просвечивал хоть какой-то смысл. Взяв Бандиагару за точку отсчёта, я пополз вправо по стрелке, в сторону моря. Ближайшим морем в восточном направлении было Красное. Зажатое между Африкой и корявым, тяжеловесным валенком Саудовского полуострова, оно кое-как исподнизу просачивалось через Баб-эль-Мандеб в Аденский залив — а там уже открывался просторный выход в Аравийское море, разлитое до самой Индии и Цейлона. Я горячо надеялся, что не ошибся при выборе исходной точки, и готов был кричать от восторга, как будто стал первооткрывателем этих мест.

О том, что случилось впоследствии, я предпочёл бы молчать до конца своей жизни. Но, к сожалению, происшествие на пассажирском судне «Саманта» стало темой судебных разбирательств и разнеслось по английской прессе — от самых уважаемых газет до бульварных листков.

Чтобы не приводить длинные цитаты, перескажу вкратце версию, попавшую в печать.

«Саманта», небольшое круизное судно, вышедшее из Дувра, благополучно и вовремя достигло пункта назначения — порта Коломбо на острове Цейлон. Экипаж возглавлял Томас Такер, капитан с 20-летним стажем, собравший за восемь лет руководства «Самантой» крепкую судовую команду. Там уже давно не было новичков, не считая двух артистов, мужа и жены, русских по происхождению, нанятых перед этим рейсом для развлечения публики.

На обратном пути судно взяло курс на Бомбей. Затем предстояли заходы в Карачи, Аден, далее — Красное море, Суэцкий канал, Средиземноморье, Атлантика и возвращение в Дувр.

Однако в назначенное время «Саманта» в Бомбей не пришла.

Первые часы после отплытия из Коломбо она в штатном порядке выходила на связь, а потом вдруг исчезла из эфира. Последний сигнал (вполне спокойный) был зафиксирован 17 июля, когда судно находилось ориентировочно на 14-м градусе северной широты.

«Саманта» не объявилась ни через неделю, ни через месяц. Поиск с участием авиации и кораблей береговой охраны результатов не дал. В конце концов, решили, что судно затонуло. А спустя три с половиной месяца «Саманта» пришла в Бомбей.

Незадолго до этого она успела выйти на связь, и на изумлённые возгласы портовых радистов: «Где вы были?? Мы успели вас похоронить!» радист судна ответил: «У нас всё в порядке. Следуем своим курсом без задержек». Когда капитан и команда сошли на берег, самым большим потрясением для них стала дата, которую они увидели на календарях: 31 октября. Получалось, что «пропущенные» месяцы эти люди провели нигде.

Между тем бортовые приборы показывали, что судно держалось курса, не дрейфовало и не накручивало лишних миль. Несмотря на это, по возвращении «Саманты» в порт приписки Том Такер был обвинён руководством судоходной компании в нарушении служебного долга и сознательном изменении маршрута. Позже в судебных слушаниях даже звучала такая версия, будто крепко спаянная команда вступила в групповой сговор, спрятала судно в тихой бухте и провела почти три месяца в разгулах и кутеже. Один журналист, комментируя этот бред, попутно задавался вопросом: а куда же заговорщики на время загула девали пассажиров? Не иначе как взяли в заложники и насильно вливали им в глотки алкоголь... Кстати, свидетельства пассажиров не противоречили показаниям моряков.

Можно было надеяться, что судебный процесс, который затеял уволенный Томас Такер, внесёт хоть какую-то ясность. Но в ходе слушаний вскрылись настолько невероятные обстоятельства, что дело о «Саманте» ещё больше стало походило на зловеший абсурд.

Выяснилось, что после исчезновения из радиоэфира судно пережило две короткие, но чрезвычайно сильные бури с грозой и шквалистым ветром, похожие на смерчи, которые налетели ненормально быстро и так же быстро стихли (по словам моряков, ничего похожего они не видели за всю жизнь). А самое поразительное случилось в промежутке между этими бурями. «Что же?» — спросил судья. «На нас напали», — ответил Том Такер.

Слова капитана подтверждала запись в бортовом журнале: «17 июля в 19 часов 11 минут после выхода из бури были встречены и атакованы двухмачтовым парусным судном неизвестной государственной принадлежности. Атаку отбили подручными средствами, включая багры, брандспойты, огнетушители и старый автомат системы “Томпсон”. Один из нападавших был серьёзно ранен».

Вот в этом месте разбирательства Томас Такер сильно смутился и довольно долго молчал, видимо, решая, стоит ли рассказывать всё до конца, или он рискует совсем

превратиться в посмешище? Наконец, решился: «Дело в том, что это был парусник очень древней конструкции... Мы оглянуться не успели, как они зацепились крючьями за наш борт и пошли на абордаж».

По словам Такера, нападавшие были в одеждах старинного покроя и выкрикивали что-то непонятное. «Мне даже показалось в первую минуту, что это какие-то киносъёмки». Экипаж судна повёл себя очень решительно. Мощные брандспойты и автоматные очереди вызвали панику среди нападавших, они покинули «Саманту» с той же стремительностью, что и появились на ней. Станный парусник ушёл куда-то на левый траверз, а вскоре началась вторая буря, ещё страшнее первой.

«Почему же вы не сообщили о нападении по радиосвязи?» — спросил судья. «Мы-то как раз сообщили, но я не уверен, что это кто-нибудь услышал». И в самом деле, ни Бомбей, ни Коломбо, ни различные корабли, находившиеся тогда же в Аравийском море, — никто сигнал «Саманты» не получал. Хотя бортовая магнитофонная запись радиопереговоров зафиксировала слова: «На нас напало неизвестное судно!» И чуть позже: «Помощь не нужна. Сумели отбиться своими силами».

После событий 17 июля (если не в тот же день) с борта «Саманты» исчезла молодая женщина, певица, одна из двух артистов, нанятых на судно перед самым рейсом. Её муж заявления о розыске не подавал, поскольку, по его словам, это был добровольный уход, о котором он знал. По данному эпизоду проводится дополнительное расследование.

Согласно решению суда, Томас Такер был восстановлен в должности, но вскоре предпочёл уйти на пенсию.

Я чувствую вину перед капитаном Такером, который взял нас с Полиной в плаванье, не зная, какую «бомбу» он берёт вместе с нами на борт. Но я и сам очень смутно это представлял.

До того как мы вышли в море, Полина переспрашивала несколько раз: «Ты уверен, что у тебя получится?», и я отвечал: «Должно. Обязательно».

Мне было известно, что она сказала Малкольму «прощай», несмотря на его резонные уговоры, и после долгих, очень болезненных размышлений решила не прощаться с мачехой и отцом. Только позвонила и сказала, что у неё всё хорошо.

Мы назвали себя семейной парой, поэтому нам дали одну каюту на двоих. Она была маленькой, тесной, и благодаря тесноте, отнимающей всякую дистанцию, позволяющей

соприкасаться нечаянно сто раз на дню, мы претерпевали острейшее, почти предсмертное состояние счастья, в котором можно было дышать не только ртом в рот, но и кожей в кожу, можно было в темноте говорить оглушительным шёпотом, находясь друг в друге, и можно было, не рискуя ошибиться, вообще не различать — где я, а где она.

Днём пассажиры «Саманты» выходили на палубу в чём попало: в майках, шортах, панамках. Но к вечеру, перед нашим концертом, наряжались в костюмы и вечерние платья, как на торжественное мероприятие. Я показывал самые простецкие фокусы, а Полина пела, что ей хотелось, по настроению. Наибольший успех у зрителей имели чтение сожжённых записок, присланных из зала, и добывание голубя из крутого кипятка. Полину заставляли петь на бис русские романсы, «Вернись в Сорренто» и «Санта-Лючию».

Голубь, добываемый из кипятка, днём обычно дремал в клетке, накрытой платком. Но как-то раз я вернулся в каюту (Полину задержала на палубе говорливая меломанка) и обнаружил, что птица всхрипывает и бьётся о прутья, как будто в истерике. Ничего пугающего или подозрительного я не нашёл, но догадался проверить баул с концертным реквизитом, где лежал мой чёрный касабланский трофей. Ящик снова был раскалён, заметно подрагивал, а линии на боковой грани, до сих пор казавшиеся царапинами, теперь превратились в узкие щели между отсеками, угрожающими раскрыться куда-то внутрь: стоило лишь посильнее надавить пальцами на горячую заслонку. Я спрятал ящик назад в баул и вышел из каюты.

Снаружи палило нещадно. Море смотрело со всех сторон огромным просоленным глазом. Мне нужно было выяснить точное местоположение корабля. В носовой рубке я встретил помощника капитана и услышал от него, что это самый юг Красного моря, скоро войдём в Баб-эль-Мандебский пролив. Сейчас я мог бы и не заглядывать в карту: мы находились чуть выше 14-го градуса северной широты. Чёртов ящик безошибочно «чувствовал», куда его занесло. У меня ещё оставалось время для манёвра — в следующий раз мы дойдём до этой же параллели на обратном пути из Коломбо.

Но я всё ещё пытался Полину отговорить.

Она спросила: «А ты боишься смерти?» Я сказал: «Пока нет. Даже интересно, что там будет после неё».

Ночью она призналась, что задала этот же вопрос вечному жиду, когда ему оставалось жить меньше недели, и не очень поняла ответ. Он сказал: «Для мужчины бояться умереть — это неправильно. Потому что ему надо понять и полюбить

целое, в котором смерти и жизни поровну. Если мужчина думает только о жизни, цепляется за неё, а смерти боится, то он, скорей всего, не поймёт ни ту, ни эту. И смерти не избежит, и жизнь будет отравлена мыслями о том, что всё равно умрёшь». Полина хотела ещё спросить о женщинах, но тут в палату к старику пришла сердитая санитарка и, размахивая уткой, заставила Полину уйти.

Она улыбалась в темноте.

— Так я и не спросила его про женщин. А ты что думаешь?

— Я думаю, женщина такое прекрасное существо, что с ней в жизни могут случиться только две вещи: любовь или нелюбовь, одно из двух.

Потом я сказал:

— Напиши мне оттуда хотя бы два слова! Или пришли какой-нибудь знак. Например, голубиной почтой.

— Постараюсь прислать.

Когда «Саманта», выйдя из Коломбо, взяла курс на Бомбей, меня одолевало отчаянье, неотличимое от последней решимости. Так бывает — бесповоротные шаги ещё не сделаны, а эхо от них уже звучит.

После моих уговоров Полина, кажется, засомневалась: не передумаю ли я сам? Она почти угадала. С приближением к намеченной широте меня догоняла малодушная и спасительная мысль о том, что самый простой выход — бросить подарочек Лиса в море и с лёгким сердцем забыть о нём. Один раз я застал Полину возле баула с реквизитом: она разглядывала ящик, словно прибор, который надо как-то включить.

Но ближе к вечеру 17-го июля он ожил сам.

Всё происходило быстрее и страшнее, чем я мог ожидать. Время истекало, а я не находил в себе достаточно безумия, чтобы сделать выбор между «никогда» и «никогда». Мой шанс не потерять её физически выглядел так: остаться на всю жизнь презираемым трусом, не прощённым за обман.

Мне нужно было хоть несколько минут побыть одному.

Я сказал: «Не балуйся тут, ничего не трогай! Сейчас вернусь». Вышел и запер каюту снаружи. Не успел я подняться на палубу, как случился настоящий потоп. Небо треснуло пополам, и море как будто перевернулось; тонны воды со страшным грохотом падали из мутно-синей темноты. Меня швырнуло в сторону, сшибло с ног, и, если б я не вцепился обеими руками в металлическую стойку леера, то был бы просто смыт за борт. Я вжимался грудью в настил палубы, которая взлетала наклонной стенкой, а бешеное

море прыгало на меня с высоты.

Как только шторм немного ослаб, я рванул назад в каюту, еле держась на ногах и выкашливая солёную воду. Господи, думал я, разреши мне только обнять её и сказать, что мы спасены! Но, уже открывая каюту, понимал, что там никого нет.

Рядом с оплавленным зияющим ящичком стояла голубиная клетка. Она была запертой, но пустой.

ПОЭЗИЯ

Вадим ОСИПОВ

Я – РУССКИЙ!

Я – русский. Значит, есть во мне
Монгола огненная доля,
А с ней и кочевая воля,
С тоской глядящая вовне.

Я – русский. Значит, весь уклад
Карманных чёртиков Европы
Пучком петрушки и укропа
Я на закуску взять бы рад.

Я – русский. Небо надо мной
Всегда необычайно сине,
И слово в паспорте – Россия –
Звучит, как деревенский зной.

И вечно где-то вдалеке
Гудят неистовые звоны,
И мерно каркают вороны,
И бьётся пульс в моей руке.

* * *

Время мягкими стопами
Протоптало тропы тьмы
И оставило на память
Фотографии зимы.

Видишь – пусто и просторно.
Чистый мир теряет вес.
И метели не зазорно
Брать созвездия в замес,

Чтобы мять сухое тесто
И муку стирать с лица...

Вот и вечер лёг на место
Синим гляncем изразца.

Если в доме печь нагрета,
Как бы в окнах не мело,
Смотришь - снег, а видишь - лето,
До того душе тепло!

Герман ИВАНОВ

ПОЕЗД «РОССИЯ»

* * *

Я видел –
С крутого откоса,
Где злобно крутил ветровал,
Взмахнула ветвями берёза
И рухнула в чёрный провал.
Всплыла.
И всё к берегу жалась,
Пока не попала в струю...
Ну что ж ты так плохо держалась
За землю родную свою.

* * *

Над озером тихим витает
Ещё неокрепшая рань,
Как будто цветы распускает
В озябшем окошке герань.

Всё ярче весёлые блики,
И тень отступает стеной,
И солнце встаёт над великой,
До боли родной стороной.

* * *

В роднике вода рябила.
Ясным пламенем горели
Вознесённые рябины
В ярко-красных ожерельях.
И с какой-то тайной силой
Еле слышными ладами
В стылом воздухе кружило
Ожиданье, ожиданье.

Может, сказки, может, чуда,
Может, легкой светлой грусти,

Над Уралом и над Чудью –
Над лесной осенней Русью.

ПОЕЗД «РОССИЯ»

Скорый поезд, мчи, вызванивай
Путь, что по сердцу пролёт...
То речушка без названия,
То весёлый ручеек,

То просёлочная тряская
Колея среди полей,
То избушка с опояскою
В рыжем солнце тополей.

Отзовутся в сердце ласково
Лёгким трепетом листа
Подмосковные,
Уральские,
Забайкальские места.

Отзовутся и останутся
До беспамятной поры,
Окликая с каждой станции
Долгим взглядом детворы.

Ты, мой поезд разговорчивый,
Им гудком пошли привет.
Вон их сколько на пригорочке
Машет радостно вослед...

НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

Я посреди своей страны
Стою в высоких травах –
Европа
С левой стороны
И Азия –
Направо.
Мой первый крик,
Мой первый след
Здесь,
Где по белу свету
Проходит становой хребет
Седого континента.

Здесь
Уралмаша чёткий ритм,
Тяжёлый гуд Магнитки,
И солнце алое горит
Стальным
Слепящим слитком,
И лес осеннюю листву
Весёлым вскинул стягом.
Я здесь рожден.
Я здесь живу.
И в эту землю лягу.

СТАРАЯСЬ ТИШЬ НЕ РАСПЛЕСКАТЬ...

1

Там, где усталые берёзы
Склонили ветви до земли,
Где серебрящаяся роздымь
Дрожит в плену речных долин,
Где все замедленней и глуше
Закат дробится и искрит
И, как потерянные души,
Бредут далёкие костры,
Где в людях гордая степенность,
А в их глазах – раскат степей,
Вольётся в душу мне напевность
Былинной родины моей.

2

Ночная птица кличет веще.
На травах вызрела роса.
А месяц низко так подвешен,
Что хоть пиджак на рог бросай!
Ночь черным лаком воронёна.
Стараясь тишь не расплескать,
Насторожённо,
Потаённо
Стоит деревня у леска.
И как издревле, как издревле,
То в одиночку,
То гурьбой
Склонились добрые деревья
Над каждой русской избой...

Евгений КАСИМОВ

ПАРИКМАХЕР ЯША

Миша Кириленко — страшно таинственный — сообщил одноклассникам на перемене полупшепотом, что Гитлер жив. Знаете парикмахера Яшу из ДК Кирова? Так он Гитлер и есть. А застрелился его двойник. Сам Гитлер бежал из осажденного Берлина и подался в Советский Союз с фальшивыми документами. Кто ж его в Советском Союзе будет искать? И одноклассники подивились ловкости главного фашиста и тут же создали антифашистское сопротивление и решили Гитлера разоблачить.

После уроков пятеро отважных отправились к парикмахерской, которая выходила большими окнами в парк, и организовали засаду. Сидели в голых кустах долго. Замерзли отчаянно. За стеклом маячил в белом халате парикмахер Яша, и когда он разворачивался лицом к невидимым зрителям, явственно виднелись его черные узкие усики. Гад, дрожа от холода, шептал Мишка, даже усы не сбрил, думает — мы дураки.

За полтора часа Яша побрил начальника энергоуправления, главного инженера ЭВРЗ, и сейчас хлопотал над Главным Поваром. На самом деле Главный Повар давно уже был директором ресторана «Шахтер», но начинал он на кухне; потом, когда посадили главного повара, был назначен на его место, и только когда посадили директора, сам стал директором. Но пацаны его так и звали — Главный Повар. Что он был ворюгой, ни у кого не было ни малейшего сомнения. Каждый день пацаны видели, как он уходил с работы с тяжелой сумкой. И когда Агафон разбил окно в кухне ресторана, то три дня, понятно, ходил героем. Агафон запустил куском сырой глины в окно второго этажа, намереваясь попасть в раму, потому что спор у него вышел с Додоном, кто из них более меткий, но попал вовсе не туда, куда целил. Как потом выяснилось, стекло обрушилось в большие кастрюли с холодцом, и пацаны долго и шумно радовались ущербу, который понес Главный Повар. Додон, правда, уверял всех, что холодец этот все равно

пустили в производство — вынули осколки и подали вечером работягам. Из-за этого Главного Повара возненавидели еще сильнее. А когда Агафона посадили, то решили Главному Повару отомстить и подожгли ресторанный помойку, где всегда было много стружки из ящиков с посудой. Правда, Агафона посадили не за разбитое стекло, а за бочку с пивом, которую он как-то ночью укатил с друзьями из хоздвора ресторана. И на следующий день их и накрыли в Агафоновой квартире, где они прямо из ведер черпали ковшами бархатное пиво, перебивая его периодически московской водкой. Но Агафон был свой, и не вором он был, а так, раздолбаем, а Главный Повар был воругой при должности.

Костик тоже учился в Начальной школе, но в «Б» классе, с Мишкой Кириленко знаком был шапочно, поэтому не был посвящен в планы одноклассников. Когда он шел из школы домой через горсад, сразу заметил пацанов, сидящих в засаде, и, конечно, ему стало любопытно. Со скучающим видом он прошелся перед зарослями два раза и тут же был пленен. Его начали допрашивать, что он здесь делает, что он тут вынюхивает и что он знает про парикмахера, но Костик знал про него совсем не то, что ожидали услышать антифашисты. Костик однажды ездил с отцом на озеро Шеломенцево и слышал, как отец рассказывал своим друзьям, с которыми они выпивали и закусывали на берегу, историю про Яшупарикмахера. Сначала они все добродушно посмеивались над ним, но когда дядя Ваня сердито сказал, что зря они так, что Яша был на фронте и у него даже есть награды, отец сказал, что да, конечно, Яша был на фронте — брил офицеров при штабе фронта, и когда он брил какого-нибудь важного генерала, то заводил с ним хитроумный разговор. И тут отец заговорил каким-то странным голосом: «О! Какой красивый важный военачальник! Такой молодой человек — и уже генерал! О! Сколько у генерала красивых важных орденов! Эти ордена показывают, что молодой генерал — человек дела! Когда война закончится — все будут смотреть на генерала и скажут, что такие люди выиграли войну. А что скажут люди, когда Яша вернется с войны? Люди посмотрят на Яшину грудь и скажут, что он тыловая крыса и бесполезно находился на фронте. И Яшин папа будет очень переживать, а маму будут злорадно осуждать соседи. Да, Яша брил на фронте, а не стрелял из автомата, но он умело брил, я вам доложу. А на войне, когда кругом так много грязи, очень важно выглядеть молодцом, особенно когда вы такой

молодой и красивый военачальник и когда у вас вся грудь в боевых орденах. А что стоит такому большому человеку похлопотать за Яшу-парикмахера? Какую-нибудь маленькую медальку Яша носил бы с таким же достоинством, с каким он всегда ведет себя под обстрелом?» Голос у отца был какой-то неправдоподобный, какой-то гладкий и жирный, как сливочное масло. Но друзья отца смеялись. И дядя Ваня не стал спорить с отцом, потому что отца все уважали. У Яши, конечно, есть медали, но такие давали всем, кто был на войне, а каких-то почетных наград у него нет. Поэтому он и не любит их носить. Все сразу увидят, что весь его иконостас — туфта. И тут все заговорили о боевых орденах и медалях, которые получали только за дело.

Пацаны как-то заскучали, потеряв интерес к парикмахерской, но Мишка Кириленко стал спорить с Костилом, сказав, что некоторые люди в городе говорят совсем другое, что он верит своим глазам, и что здесь вопрос надо решать принципиально. Так и сказал: принципиально. Но потом вдруг предложил построить самолет. Небольшой такой самолет на двух человек. Только нужны ровные доски. Доски у меня есть, обрадовался Костик. Когда построили дом, очень много хороших досок осталось, и сейчас они ненужные лежат во дворе – ровным таким штабелем. На самолет должно хватить. Вот только где взять мотор? Ну, мотор-то как раз легко добыть, солидно сказал Мишка, у отца друг работает в Центральных электромеханических мастерских. У них там этих моторов завались. Можно договориться. Какой-нибудь маленький моторчик. Друг отца чуть ли не начальник ЦЭММ. Если Мишка попросит отца, тот поможет. Конечно, с таким маленьким мотором самолет высоко не поднимется, но метров на пять – запросто. Но нужны шасси. Подошли бы колеса от детской коляски. Или трехколесного велосипеда. Вот всем задание. Пацаны покопошились еще немного, да и разошлись.

Яша брил мастерски. С шиком. Он тщательно намазывал лицо клиента, превращая его в кремовый торт, потом плавно правил бритву на ремне, при этом хищно поглядывая на сидящего в залатанном парикмахерском кресле человека, как будто намеревался ловко и безболезненно перерезать ему горло трофейной золингеновской бритвой, потом вкрадчиво подступал к нему, замирал на секунду, примеривался и быстрыми движениями смахивал белоснежную пену вместе со щетинкой. Бритву он обтирал свежей газетой «Горняцкая правда». Вся процедура продолжалась меньше минуты, но

Яша не торопился отпускать клиента, он остро всматривался в его раскрасневшееся лицо и, не найдя никакого изъяна в своей работе, и убедившись, что кожа чистая, брал горячее вафельное полотенце и осторожно и плотно накладывал его на сдобные щеки. И опять возникало ощущение, что он собирается изничтожить клиента, но уже посредством удушения, при этом Яша горестно кривился, как бы сожалея, что вот не удалось изящно перерезать горло бритвой, так теперь придется грубо перекрыть кислород. После компресса, Яша вооружался ножницами и, мелко стрижа воздух, прицеливался к невидимым волоскам в носу и на ушах. Ликвидировав это физиогномическое недоразумение, он двумя изящными взмахами тонких ножниц ровнял брови, изумленно осматривал помолодевшего и радостного клиента и, ловко уронив ножницы в широкий карман халата, брал в руки пульверизатор с сеточкой и объявлял: «Одеколон — не роскошь, а гигиена!». Яша мял оранжевую резиновую грушу, обдавая нежным прохладным облаком вконец умиротворенного и зажмурившегося от удовольствия клиента, и делал это с такой решимостью, которая говорила о том, что он все-таки решил дело довести до конца, но уже при помощи тонкого яда из пульверизатора. Заметьте, говорил Яша, это не какой-нибудь «Тройной», это настоящий «Шипр»! Ошалевший посетитель расплачивался, норовя избежать сдачи, но Яша, нимало не оскорбляясь, сдачу твердо сдавал. «Следующий!», — громко кричал он, хотя у стены, дожидаясь своей очереди, сидел всего один человек, внимательно изучающий журнал «Физкультура и спорт».

Была в городе еще одна парикмахерская, где не только стригли, но и брили, — тесный закуток в городской бане. Вечером в субботу и все воскресенье баня была настоящим клубом, где можно было славно поговорить в очереди обо всех событиях в городе и даже в стране, где после парной с влажным непроницаемым паром и неторопливой помывки из оцинкованных шаяк в общем отделении, можно было занять еще одну очередь в парикмахерскую и пойти в буфет, всегда пахнувший по субботам свежими опилками, и там выпить бочкового жигулевского пива или разливной водки, продолжая неспешный разговор о делах в городской футбольной команде «Шахтер» и прислушиваясь к звонкому крику: «Пройдите один!». Разопрев от водки, мужики похозяйски усаживались в кресло перед зеркалом, нагло рассматривали себя, требовали подстричь их под «полубокс», и в завершении ритуала соглашались побриться, хотя знали,

что не миновать им кровопускания, которое традиционно останавливалось крохотными клочками свежей газеты «Горняцкая правда». В бане работали две говорливые сменные парикмахерши. «Разве там броят? — сердился Яша. — Разве женщина может это сделать без ущерба для мужского достоинства? Да лучше пользоваться станок с невозможными лезвиями «Нева», чем отдаваться в руки этих ветеринаров!».

В баню Яша всегда приходил в субботу рано утром, когда сонная баба Шура только заканчивала протирать желтый кафель широкой лентяжкой с огромным, как знамя, куском серой мешковины. Купив билет за пятнадцать копеек, он проходил в пустой предбанник, где все двадцать четыре шкафчика для одежды были распахнуты в бесстрастном ожидании посетителей, выбирал угловой, медленно раздевался, аккуратно складывая вещи на нижнюю полку. Стянув майку, он обнаруживал сухой мускулистый торс с большим шрамом под левым плечом. Этот шрам, затянутый нежной розовой кожей, был столь широк и глубок, что остальные, звездами рассеянные по всему телу, казались незначительными. «Двенадцатый закройте!», — кричал Яша и быстро уходил в помывочную, показывая сильную узкую спину. С огромной розовой бугристой кляксой над левой лопаткой.

В субботу утром в баню мало кто ходил. Разве что редкие пенсионеры да Гена Бектышанский — здоровенный глухонемой парень с поврежденным рассудком. Так он ходил каждый день, благо с него как с юродивого не брали ни копейки. А буфетчица Валюша даже наливала ему шипучей воды из сатуратора. А по субботам — даже с вишневым сиропом.

Яша закрыл на ключ большую стеклянную дверь парикмахерской, сдвинул на затылок свою новую шляпу, и, распахнув мягкое китайское пальто из темно-рыжего драпа, легко сбежал по крошащимся бетонным ступеням и через парковые ворота вышел на площадь. А штиблеты на нем сверкали!

Дворец культуры готовился к празднику. На толстых белых колоннах, на специальных железных креплениях, как факелы — висели красные флаги. Два мужика в серых застиранных спецовках несли фанерный щит, на котором строгими буквами было написано, что состоится торжественное собрание. Ниже, уже веселыми цветными буквами — объявлялись танцы. Откуда-то из-под крыши ДК

неслись резкие разрозненные звуки труб, бумкал большой барабан. Яша кивнул мужикам, глянул искоса на свежевыкрашенный серебрянкой памятник Кирову, пересек улицу Цвиллинга и пошел по проспекту Горняков, вдыхая полной грудью горьковатый серый воздух.

Рану на груди холодило, но это даже нравилось Яше. Ему вообще нравились вот эти тонкие ощущения жизни, которые возникали неожиданно то от грубого запаха угольной пыли, висящей над городом, то от горячего бензинового чада проехавшего мотоцикла «Цюндап», каким-то чудом занесенного на Урал, то от пряного дыма тлеющей тополиной листвы в скверах, то от дымящегося шоколадного навоза, который оставила медленная лошадь старьевщика, – и от сотен других будничных будоражащих ноздри запахов. Ему нравилось, что на южной стороне улицы Цвиллинга поднялись светлые силикатные пятиэтажки, а старые трехэтажные дома на проспекте покрашены в чистый желтый цвет, что асфальтовые тротуары выметены, и так славно цокать подковками на сверкающих штиблетах по чистому асфальту и слышать, как за спиной настраивается духовой оркестр, который будет сегодня играть на танцах. Яша поравнялся с длинной серой трибуной, над которой сиял покрытый жирной бронзовой краской гипсовый Ленин. Ну почему они так любят серый цвет, подумал Яша. Вон, и горком у них серого цвета. Тяжелое приземистое здание в конце проспекта напоминало ему комендатуру в одном украинском городке, которое они брали штурмом под кинжальным огнем ручных пулеметов. Пулеметчики засели в окна второго этажа в крыльях здания и поминутно меняли позиции. И переметнуться через площадь не было никакой возможности. Тогда пришлось обходить дворами и с территории хлебопекарни вламываться с тыльной стороны, предварительно закидав окна осколочными гранатами. Нет, ну можно же было покрасить другим цветом, ну, красным... Или хотя бы зеленым!

Яша раскланивался с редкими прохожими и неторопливо шел по проспекту. Домой! Домой! Там пахнет раскаленной плитой и сладкими булками с корицей. Там уже начинается праздничная прелюдия, которая в своей томительности гораздо содержательнее самого праздника.

Яков, опять будет строго спрашивать мама, почему бы тебе не надеть на торжественное ордена и медали? На торжественном все будут выглядеть нарядными. Ты не хочешь своей маме сделать приятное? Оставьте, мама, будет бормотать Яков, при чем здесь ордена и медали? Седьмое

ноября — праздник Революции. А у меня нет революционных наград. Как и знаков отличия за доблестный труд. Вы всегда, мама, пытаетесь нарядить меня, как новогоднюю елку. И что, не согласится мама, вечером во Дворце танцы, и там будут лучшие люди города. И ты должен выглядеть солидно. Они ведь думают, что ты простая обслуга. Ты, Яков, совсем лишен честолюбия. Да, мама. Я совсем лишен честолюбия. И вообще, война давно закончилась, и, мне кажется, некрасиво к месту и не к месту демонстрировать свое героическое прошлое. Это ложная скромность, Яков. Не убеждайте меня, мама, что ходить павлином — это хорошо. Это не комильфо, мама. А, кроме того, я собираюсь надеть свой новый костюм. Вы хотите, чтобы я провертел в нем дырки? Вы хотите, чтобы я безнадежно испортил новый костюм? И вот тут мама сдастся. Но через пять минут начнет снова. Яков! Ну зачем тебе эти дурацкие усики? Точно такие носил этот сукин сын Шикльгрубер! Это вызов обществу, Яков! У людей есть память и не надо испытывать эту память. Мама, весело ответит Яков, точно такие усики носит Чарли Чаплин! Чаплин? И тут мама нахмурится. Этот паяс?! Мама, с мольбой в голосе скажет Яков, я надену новый костюм. Я буду выглядеть как картинка. И все девушки будут мне улыбаться. И тут вмешается папа. Руфа! Отстань от Яши! Он уже взрослый мальчик. Он лучше знает, как очаровать девушек. И когда мама уйдет на кухню и там начнет греметь сковородками и противнем, папа тихо и убедительно начнет размышлять, что, конечно, если Яша не хочет показывать свои боевые ордена, это его дело, хотя орден Красного Знамени — весьма почетный орден, но костюм, конечно, портить не хорошо, а вот медали «За отвагу» могли бы скромно и благородно украсить его грудь, это вполне достойные медали. При этом он будет смотреть на Яшу в упор, и глаза его будут блестеть. И Яков сконфузится и деликатно напомнит папе, что медали у него тоже на штифтах, как и ордена, и что под них все равно придется дырявить новый костюм. Вот куплю специально бостоновую пару, приверну все на пиджак намертво — и тогда буду надевать его как парадно-выходной мундир. Мама на кухне, выкладывая рыбный пирог на лист, будет громко ворчать. Ты — щеголь, Яков! Но ты — советский человек! И советская власть отличила тебя. Ты скромничаешь и даешь повод для злых языков! И Яков уйдет к себе в комнату, будет целый час мочалить резиновый эспандер, потом в изнеможении свалится на кровать, будет лежать, глядя в потолок, курить

папиросу, и мыслями заберется в далекое прошлое, которое так сильно отличалось от настоящего, что воспоминания, как холодный потусторонний ветер, разбередят искаленную кожу на груди и на спине. Потом он встанет, выдвинет ящик стола и вытащит на свет божий квадратную голубую шкатулку, где хранятся завернутые в мягкую бежевую замшу его фронтовые награды и тусклые желтые фотографии в черном пакетике из-под фотобумаги. И он будет то горько, то радостно вспоминать своих товарищей из разведзвода, от которого только и остались, что Витя Загоруйко из Москвы, Валя Локтев из Свердловска да он, Яша Горенфельд из маленького шахтерского города.

Александр КЕРДАН

РУССКОЕ НЕБО

Высокое, безмерное бывает,
А то, напротив, гнет тебя к земле...
В нем горький дым Отечества витает,
В нем наше солнце прячется во мгле,
Чтоб засиять однажды добрым светом
Для сыновей своих и дочерей...
Зовется небо русским,

но при этом

Ему — равно: каких мы все кровей.
Оно одно!

Наперекор всем бедам
В душе моей да не иссякнет Русь,
Пока дышу я этим вечным небом,
Пока по-русски я ему молюсь.

* * *

Владимиру Крупину

Лодкой без вёсел родная деревня
В клочьях тумана плывёт в никуда.
Стаей вороньей чернеют деревья —
Чуть в стороне от гнилого пруда.

Целою улицей брошены избы,
Окна крест-накрест забиты у них...
Ветер разносит окрест укоризны —
Долгие скрипы калиток больных.

В бывшей церквушке ютятся харчевня,
Чтобы случайных гостей принимать.
Ближе и ближе к погосту деревня —
Всеми детьми позабытая мать.

* * *

Георгию Негашеву

Я видел кладбище берёз,
Что умирали стоя...

Нас разделял крутой откос —
Притормозивший поезд
Был вдаль умчать меня готов,
Перечеркнув мгновенье...
И не нашлось ни чувств, ни слов,
Чтоб выразить виденье.

И только после понял я,
Что помнить мне отныне:
Да, это Русь была моя —
По грудь уже в трясине!

Не отыскать друзей окрест,
Чтоб кто-то подал руку...
Летит гремящий век-экспресс,
Неся упадок духа.

Он лишь наживою живёт,
В нём нет любви и чести.
И только свет берёз ещё
Струится в поднебесье,
Суля надежду там, где нет
И толики надежды...

Я видел этот дивный свет —
Двух полустанков между.

Всё понимаю — надо жить,
Стоять и не сдаваться,
И, утопая в вязкой лжи,
Собою оставаться,
Чтоб среди всех вселенских гроз
Не знать душе покоя,
Лелея в сердце свет берёз,
Что умирали стоя.

ДВЕ РЕКИ

Когда бы шёл с востока русский меч,
Являясь порождением ислама,
Могли бы Волгу Камою наречь,
Поскольку полноводней, шире Кама.

Но русский меч был породнён с крестом
И шёл встречь солнцу, аж до океана...
И Волгу — Волгой мы с тех пор зовём,
И первой стать уже не может Кама.

Но в том и сила русского меча,
Что как бы вера с верой ни сплеталась,
Да только Кама, камушки меча,
Всё пережить смогла, собой осталась.

Не поддаваясь пришлому уму
Амбициям своим не потакая,
Она впадает в Волгу потому,
Что сильная и добрая такая.

И ей не страшно — всю себя отдать
Другой реке, навеки слившись с нею...
Она душе доверчивой под стать,
Что, лишь смирившись, выстоять сумеет.

ВО ВЛАДИМИРЕ

Летят облака, будто конники,
Над Клязьмой — светлы и легки.
Маячат вдали колоколенки —
Для русской души маяки.

Стою у тебя на околице,
Святая и древняя Русь.
Вот-вот за небесною конницей
Вдогонку и я соберусь.

Туда, где по рангу построены,
Ряды подравняли свои
Монахи, поэты и воины —
Поборники отчей земли.

Прощаясь с Отчизною милою,
Стою, озираясь окрест,
И, тайной наполненный силою,
Целую серебряный крест.

Чтоб так же в рассветном свечении
Мерцали церковей купола,
Чтоб Клязьма струила течение
И русской рекою была.

Чтоб слово родное, исконное
Звучало века и века,
И чтоб над землею, как конники,
Крылато неслись облака.

Молюсь, уповаю смиренно я,
Чтоб вовремя час мой настал
И князь мой святой без сомнения
В дружину меня поверстал.

Чтоб мог я, как равный меж равными,
Пополнив небесную рать,
Лететь над землей этой славною,
Незримо её охранять.

СЫНОВНЕЕ

Перестук электрички, как пульс
На запястье страны моей сонной,
Ощутил я по-докторски, пусть
И не врач, а — военный исконный.

Но тревога такая живёт,
Будто с мамою плохо, и снова
Утешаю её:

— Всё пройдёт!

Не печалься, ты будешь здорова.
Только веру не надо терять,
И у жизни не будет предела...

А лечить тебя и защищать —
Несомненно, сыновнее дело.

УРАЛ

Два запаха родных: полынь и хвоя
В душе не зря судьбою сведены.
Отечество степное и лесное —
Хребет мой личный и хребет страны.

Неся свой крест твердыни и оплота,
Ты не горазд на громкие слова,
Меня терпенью учишь и работе,
Которая одна всегда права.

Которая останется со мною
До снега первого, до седины...
Два запаха родных: полынь и хвоя
В душе не зря судьбою сведены.

* * *

Я вернулся, а Урал —
В той же кипени черёмух,
Так, как будто я из дому
Никуда не уезжал.

Всё как прежде: тот же вид,
Те же дождь и бездорожье.
И на месте — волей Божьей —
Тот же дом родной стоит.

Неужели лишь затем
Нас влечет к себе пространство,
Чтоб понять, что постоянство
Лучше всяких перемен...

* * *

Воздух такой в нашем городе — редкость.
Разве, что в мае и после дождя...
Будто бы это вдруг сельская местность
Из-под асфальта явила себя.

Запах черемух и запах озона —
Предупрежденьем: грядут холода...

Будто опять очутился я дома,
Где только небо, земля и вода.

Где, растревоженный памятью древней,
Сызнова ты начинаешь житье,

Вдруг осознав,
 город — это деревня,
Просто забывшая имя свое.

* * *

Радуга, как будто коромысло,
На плечах уральских гор повисла,
На границе двух материков...
Мир дождём полуденным умылся.
Стало больше слов, но меньше смысла
В промежутках между смыслом слов.

Оттого так радостно — притихнуть,
Если над тобою чудо вспыхнет:
После грома тишина слышней...
Континенты, родина, граница —
Память, что в душе у нас хранится:
Нет её понятней и нужней.

Если справа — синь, и слева — тоже,
Несказанное — душе дороже,
Как уменье паузу держать.
Чудо, погоди, останься с нами
Тишиной, как будто в Божьем храме,
Где и молча можно всё сказать.

* * *

Лебединая песня зимы
Острым клином врезается в лето.
Солнце, цвета лежалой хурмы,
Плавит снег непонятного цвета.

Скоро будет теплей и светлей,
И природа — щедрей на подарки.
Мы увидим опять лебедей
На пруду в нашем стареньком парке.

И о вкусе бакинской хурмы,
О метелях, стучащих в окошко,
Станем мы до грядущей зимы
Каждый день забывать понемножку,

Наблюдая, как птицы плывут,
Изогнув горделивые шеи...
Только летом они не поют,
До разлук свои песни лелея.

* * *

Что будет с Россией — не знаю,
Но верю, что будет жива.
Восходит трава молодая,
Лишь солнце воспрянет едва.

И в мрачное времечко даже,
Когда не увидишь восход,
Растёт она, травушка наша,
Не ввысь, ну так в корень растёт!

Копытьте её и топчите —
Трава распрямится в свой час.
Одно лишь при этом учтите:
Она прорастает сквозь нас

Как эта эпоха глухая,
Как мудрости вечной слова...
Что будет с Россией — не знаю.
Растёт молодая трава.

ПРОЗА

Александр Чуманов

ТАВДА, РЕВДА, САЛДА, ПИЦУНДА

С годами некогда дружная и лёгкая на подъём рыбацкая компания понемногу редет, становится всё трудней побыстрому и неожиданно для самих себя собраться, рвануть за тридевять земель на какое-нибудь неведомое прежде озеро, где, согласно пролетевшему вдруг и подчас весьма сомнительному слуху, некто третьего дня угадал на небывалый клёв небывалой рыбы. А если собраться всё же иногда удаётся, то уже далеко не в полном составе — у кого-нибудь непременно найдутся веские причины с глубокой и вполне искренней печалью в голосе отказаться. Хотя в прежние года столь веской причиной могла быть лишь внезапная смерть.

В конце концов, два-три раза отказавшегося перестают и приглашать. Ясно уже — он больше не поедет. Даже если слух будет абсолютно достоверным, даже если ехать совсем не далеко и в проверенное стократно место. А что при этом случается с человеком — бог весть. Загадка. Имеющая, впрочем, не одну, а сразу несколько разгадок, каждая из которых в отдельности выглядит совершенно несерьёзно, а все в совокупности — весомо и многозначительно: знать, миновал человек некий жизненный рубеж и ходу ему назад нет, только вперёд, камнем под гору...

Но при этом человек ещё довольно долго сохраняет живейший гуманитарный, если можно так выразиться, интерес к чужим рыболовным достижениям, которые пока ещё случаются, хотя значительно реже, чем прежде. Ему на излюбленную тему поговорить — и ладно. Специфическое чувство, считай, удовлетворено. Такого товарища своего рыбаки, не избывшие покуда любимую страсть, иронично, но совершенно беззлобно, называют «теоретиком». И он, если видит кучкующихся возле гаражей или, к примеру, в окрестностях пивного ларька «практиков», непременно подойдет послушать разговор и своё словечко к месту вставить. Произвести, как говорится, обмен мнениями. Ну, и тоже — по пивку, если, конечно, такую роскошь может себе позволить.

А рыбаки, между прочим, когда соберутся вместе, не только про рыбалку поговорить могут. В отличие, скажем, от футбольных болельщиков, а, тем более, той весьма многочисленной нынче прослойки, которая отчётливо оформилась в годы, когда телевидение сделалось круглосуточным и которую день-деньской от телевизора не отодрать. Это ведь только на первый взгляд может показаться, что телеманы толкуют промеж себя о разном, а прислушаешься — тьфу! Бесконечно обсасывают услышанное да увиденное, не понимая уже, что их несчастные головы превратились в пустую посуду, заполняемую кем попало и чем придётся.

Рыбаки же, чьё любимое занятие требует большой сосредоточенности и длительного самопогружения, начав с рыбацких баек, могут очень скоро удалиться в такие философии, что не дай вам бог, как говорится. А то обычная, вроде бы, байка у них незаметно переходит в некую бытийную, извините за выражение, плоскость...

— А я, мужики, однажды на рыбалке полночи возле одного костра с Косыгиным просидел... — Вдруг взял да и огорошил всех Петров, малоразговорчивый обычно мужичок лет шестидесяти из упомянутых «отставников», но уважаемый в рыбацкой среде за былые заслуги, а также невероятную для бывшего, опять же, водителя-дальнобойщика эрудицию — говорят, он любые сканворды как орешки щёлкает.

— С каким это Косыгиным? — сходу-то его даже и не поняли.

— С обыкновенным. С Алексей Николаичем. — Невозмутимо закуривая свою пожизненную беломорину.

— Председателем Совета министров?!

— Но.

— Как это, где? Ну-ка, ну-ка, расскажи! — искренне заинтересовалась публика, ничуть, между прочим, не усомнившись в том, что услышать не сомнительную байку, а подлинную историю предстоит. Тогда как люди сторонние непременно подумали бы, что без малой хотя бы толики вранья нипочём не обойдётся.

— Да так вышло... — Петров на мгновение задумался и, глубоко вздохнув, начал издалека, так что некоторые, имевшие собственную историю наготове, недовольно подумали успели: «Ну, вот, ещё один Достоевский, тоже главное выделить не умеет!», но вскоре поняли — без вступления действительно было не обойтись. — В общем, наступил у нас с Ириной Васильевной такой период жизни.

Критический. Говорят, он в каждой семье случается, но завершается по-разному. Одни — навсегда разбегаются в разные стороны, другие же — преодолевают кризис и уже не разлучаются до самой смерти...

Словом, надоел я жене, по-видимому, до чёртиков. И, в общем-то, не без оснований. Что ни сделаю — всё не ладно. Что ни скажу — в ответ раздражение. И я, соответственно, так однажды разозлился, что понял: «Не ровен час — убью чем-нибудь. Или — никому не сказав, — пусть попереживают, пусть почувствуют, кого потеряли — на самолёт. Тогда это было запросто. Тем более, зимой — в Пицунду.

Почему в Пицунду? — Да нет, не грусть-тоску в кабаке заливать, понты наводить — таким дешёвым фраером отродясь не был. А просто — сестра ведь моя старшая Надежда там в ту пору проживала. Муж-то её, покойный ныне, был абхаз, в наших краях когда-то коровники строил, вот они и снюхались... В Подмоскovie теперь сестра-то, дети её в Москве, тыщу лет никого не видел, съездить бы хоть напоследок, проведать, да как съездишь...

Вот и прикатил я к Надежде. Сразу с порога всё объяснил, клятвенно пообещал, что не обременю, они все мне обрадовались — дом большой, как у них принято, пустой по случаю несезона — зять абхаз особенно обрадовался, притом от души, нефальшиво. И все хором, — мол, не спеша, отдыхай! Но я на следующий же день заставил сеструху прописать меня, как положено, и через пару дней уже на работу вышел. Правда не шофёром, а проходчиком. Там тогда неподалёку один из железнодорожных тоннелей строили. Сразу же и койку в общежитии получил. И зарплату без всякого обучения (чему учиться-то — бери больше, кидай дальше) — пятьсот рэ. По нынешним деньгам, это... В общем, до хрена. Притом — у самого синего моря. Работа, конечно, тяжёлая, ничего не скажешь, но я ж моложе был почти вдвое, и мне, чем тяжелее — тем азартнее.

Да-а-а, были времена...

Там, в Пицунде, я на деле убедился, насколько мудрая наша поговорка «рыбак рыбака видит издалека». Хотя, как я уже говорил, работа в тоннеле тяжкая была, но зато смена всего шесть часов, график, стало быть, выходных, в том числе посреди недели, хватало. А потому не прошло и месяца, как я уже со всеми местными любителями перезнакомился, снастями понемногу обзавёлся, особенности процесса вызнал. И приняли меня в неформальное, так сказать, «сообщество». Свои ж люди. Хоть и не русские. Но, может,

русские там тоже были — хрен их разберёт. Да и не разбирались тогда. Одно только — грузин среди нас находиться не могло.

И вот однажды летом уже, нет, не летом даже, а в бархатный сезон, когда у нас на Урале всю осень, сидим мы с ребятами поздним вечером, уж стемнело, на берегу моря, у костерка греемся, винишко собственного производства попиваем, «баланду травим», само собой. Но, одновременно, рыбачим. И закидушек с колокольчиками у нас по берегу — штук полста. На кефаль. Которая по мне так ставрида и ставрида. У нас в магазинах её во все времена навалом. Клюёт — так себе...

А рядом — забор. Немудрящий такой, между прочим, заборчик. Дощатый. В воду уходит. Но если, к примеру, понадобилось тебе за чем-нибудь на ту сторону — не проблема. Закатай штаны чуть выше колен и — пожалуйста. Не замочишь. Хотя, самое интересное, за забором — правительственные дачи. Или как уж их там называли официально...

И вдруг — как зазвенят колокольчики! Сразу несколько штук. Мы, конечно, сразу все — туда в темноту. А там — мужичок! Пожилой, тщедушный довольно-таки. Его, вполне бесцеремонно — за шкварник сразу. Как не накостыляли сторяча прямо в потёмках, до сих пор удивляюсь. Ведь выпивши все, да и народ горячий, южный. Но, слава Богу, разборки наводят поволокли к огню. А там его один местный каким-то чудом очень своевременно признал.

«Ой! — отцепился моментально от рукава. — Алексей Николаевич, вы что ли?!»

«Ага, — отвечает, явно конфузясь, — извините великодушно, мужики, я хотел потихоньку от obsługi улизнуть, а тут шуму наделал, вам делов наделал, рыбу, небось, распугал...»

С нас хмель-то мигом слетел, однако не скажу, чтобы кто-то вусмерть перепугался. Может, только слегка. Не сталинское же время. Хотя, с другой стороны...

«Да пёс с ней, с рыбой, это вы нас, дураков, извините, Лексей Николаич, не выдавайте уж, знали бы, так разве!...»

«Вот-вот, и вы меня не выдавайте тоже, договорились, стало быть...»

И, в общем, пока он с нами сидел — какая уж там рыбалка. Только зря колокольчики названивали, пока не смолкли, когда рыба всё на крючках объела. Зато из первых рук узнали о планах и задумках нашего родного правительства. Советы даже Косыгину кое-кто пытался давать. И он, намахнув

стакашек, чего-то даже записывал в блокнот.

Я свой голос подать ни разу не решился. Хотя язык другой раз, честно сказать, чесался. А потом он от нас ушёл. Тем же путём, закатав брюки и унося штиблеты в руке. Очень был доволен, что вот так бесконтрольно сходил в народ. Ну, и мы, само собой, тоже...

Потом мне ещё доводилось Лёню Брежнева видеть, правда, издалека. Всё движение на трассе перекрыли, пока он проезжал на своём броневике и ручкой нам через окно делал. То есть, я в основном-то лишь руку и рассмотрел более-менее. А Шеварднадзе к нам в тоннель как-то наведалься. «Рукой поводить». Он тогда первым секретарём в Грузии был. Его тоже видел близко, как вас. Тоже ничего мужиком показался, хотя Косыгин, пожалуй, потолковее. Может, сейчас совсем другая была бы жизнь, если бы он свои реформы провёл, если б ему дали. Может, Союз бы наш Советский не накрылся так скоропостижно и с грохотом...

Хотя, вообще-то, я всё больше склоняюсь к мысли, что пить вино в нашей компании — это одно, а реформы какие бы то ни было с нами, над нами и для нас проводить — дело другого рода. То есть, либо — кровавое, либо тухлое. По-другому ещё ни разу пока что не было. Про себя, например, я совсем недавно со всей бесповоротностью понял: если бы вдруг каким-то фантастическим образом очутился я в своё время на месте Горбача, а потом Ельцина, то, можно не сомневаться, наломал бы дров и я. И любой из нас. Даже хуже, хотя хуже, кажись, некуда. А задним-то числом умничать, как теперь — все, дело нехитрое...

— Эх, куда хватил! — подал голос кто-то. — Туда, на самый верх, небось, не наш брат попадает.

— А чей? — усмехнулся рассказчик. — Разве было когда, чтобы там наилучшие да наипорядочные оказывались? В том-то и беда, что наилучшим да наипорядочным туда, наоборот, хода нет. Потому что им прогнуться да врать — невозможное дело. Из-за чего там — не умней нас публика. Тем более, не порядочней...

Ну, а потом прикатила моя ненаглядная Ирина Васильевна. Видать, они с Надеждой тайком от меня списались-созвонились. Хотя я об этом догадывался, конечно. Раз нет всесоюзного розыска и прочего такого. Соскучилась и прикатила. Да и сам я, чего уж там, соскучился уж. Другой-то бы сто раз бабу себе нашёл. Даже и нормальную, домовитую. Тем более, при таком заработке. А я какой-то насчёт этого дела застенчивый.

«Домой-то чо, — спрашивает, — собираешься, или

«коровник» этот подземный сдать в эксплуатацию охота, тогда уж?...»

«Да хрен с ним, с «коровником», — говорю. — Без меня, поди, сдадут. Скажи лучше, дети-то — как?»

«А что дети — дети нормально. В школу ходят. Про тебя каждый день спрашивают: когда-де папа с заработков вернётся. А я говорю: как правительственное задание исполнит, так — сразу...»

«Тогда считай — исполнил. Если только отрабатывать не заставят. По закону сколько положено...»

Однако отпустили без отработки. Вошли в положение. И с тех пор я больше ни с какими знаменитостями ни на рыбалке, ни в других местах не встречался. Хотя, кроме Пицунды, где только не побывал. Как говорится, «от Тавды до Салды»...

— Ревду позабыл, — напомнили Петрову.

— Нет, не позабыл. Просто — какая там рыбалка? Никакая.

— А с женой-то с тех пор — тишь-гладь, совет-любовь?

— Чо спрашивать — не на облаке живём, сами знаете. Но если кто не знает — нормально живём. Не помню, когда ссорились всерьёз. Хотя насчёт «любви»... Я бы лучше на современном этапе назвал это «толерантностью». Или «политкорректностью», что один хрен.

Юрий КОНЕЦКИЙ

СТАРИКИ

БАБУШКА

На поду сухарик звонко креп,
От печного жара золотел...
Не летел в помойку чёрный хлеб,
Белый хлеб за окна — не летел.
Сытые стояли времена,
На столе то — шаньги, то — блины.
Помнила бескормицу она —
Голодуху чёрную войны.
Жар добра в глазах её не гас.
Заведя квашонку до зари,
Угощала шанежками нас...
И, всплакнув, сушила сухари.

СТАРИКИ

Поумирали старики
И востроглазые старухи,
Что нам порой диралы «ухи»
И сухо ставили шлепки.

О, мы заслуживали их,
Но кроме этой жёсткой ласки
Нас обволакивали сказки
И пушкинский напевный стих!

Не разбирая, кто чей внук,
Уча уму на самом деле,
Нас просвещали не без цели
В той академии наук.

То отчитают, то простят,
А то — крапивою до жженья...
Конфеткой в праздник угостят
И бражкой — в день поминовенья...

Александр ДРАТ

ОТЦОВСКИЙ УРОК

Отец что-то строил тогда во дворе
(А строил он вечно: и раньше, и позже)...
Носил я песчаник и гравий в ведре,
Иртыш был от нас в километре, не больше.
Немало я с этим ведром отмахал,
Такой был расклад у меня — это помню:
Шагая с пустым к Иртышу, отдыхал,
Чтоб сил накопить — для движения с полным...
Потом незаметно не стало хватать
Расклада мне этого, и почему-то
Я начал и с грузом уже отдыхать,
Приостанавливаясь на минуту...
Трудней и длинней становилась тропа.
Уже я прикидывал на передышках:
«От этого камня дойду до столба...»
Потом — до пожарной попробую вышки...»
А утром... А утром я снова шагал
К реке, хоть болели ладошки и плечи.
Отцовский урок мне понять помогал:
У сил есть предел. Только труд — бесконечен.

СЕНОКОС

Ещё земля в объятиях зари,
Ещё тепло не высушило росы...
Но вставшие до зорьки косари
Успели сделать первые прокосы.
Ложатся травы в ровные валки,
Трезвонят пробудившиеся птицы.
От пота на спине отца круги,
Рубаха взмокла...
— Дай, сынок, напиться! —
А я, счастливый, лишь того и жду,
Лечу навстречу, расторопный малый,
Прижав кувшин к груди. Но на беду,
Когда, быть може, шага два осталось,
Споткнулся и... Прощай моя вода!
Всё-всё пропало!.. Я лежу и плачу.
Отец смеётся:

– Право, неудача!
Но неудача – всё же не беда.
Протока рядом. Слышь, я подожду...
Не плачь, сынок...
...В груди от страха тесно,
Когда назад, как по стеклу, иду:
А вдруг опять? А вдруг ещё? А если?..
Отец, разгорячённое лицо
Назад откинув, жадно пьёт. А к донцу
Кувшина
Лист прилип – искрится солнце,
В нём отражаясь радужным кольцом...
С тех пор воды немало утекло.
Но я запомнил летний день далёкий:
И сенокос, и солнце, и тепло
В глазах отца, и шум воды в протоке...
Не знаю, почему, но мне всё чаще
Одно и то же видится опять:
Несу кувшин с водой. Несу, как счастье.
И боязно хоть каплю расплескать...

Татьяна КУЛЕШОВА

ОДИНОКОЕ СЕРДЦЕ - ЭТО ПРОСТО ЗВЕЗДА

Арсену Титову

Девочки мои!
Веточки мои!
Вам досталось деревце тонкое.

Как сберечь мне вас,
Оградить от бед?
Если я сама на ветру стою!

Если ветер тот
До земли пригнет,
А потом опять гордо
Выпрямит...

Где мне силы взять,
Чтобы устоять?
Чтобы вас спасти, мои милые...

* * *

Светло и холодно лететь,
Но с каждым взмахом сердце чище,
А там, внизу, на пепелище,
И плакать некому, и петь.

А там, внизу, над пеплом белым,
Чужие травы и ветра...
Сегодня с самого утра
Я поднялась и улетела.

* * *

На город каменный смотрю,
А вижу своды золотые,
И говорю слова простые,
И небеса благодарю
За хрупкость снов,
За краткость слов,
За снега светлое паденье,
За звонкое несовпадение
Капелей и колоколов.

* * *

Одинокое сердце —
Не вина, не беда,
Одинокое сердце —
Это просто звезда,
Что летит одиноко
Среди звезд и планет,
И не виден из окон
Ее маленький свет.

* * *

Вдоль дороги,
Вдоль дороги
Серебристая полынь.

Вдоль дороги
Склон пологий,
А за ним — леса да синь.
Вдоль дороги
Теплый вечер,
Тонких бабочек полет...
А в конце дороги встреча,
Может быть, произойдет.

* * *

Легкокрылая моя птица!
Как волшебно умеешь ты
Раствориться и вновь явиться
В синем воздухе высоты...

ПОСЛЕ ЛИСТОПАДА

Здесь прозрачна тишина,
Отражения беззвучны,
Листопадная волна
Схлынула благополучно.

Ничего не унесла,
Никого не затопила —
Тихо на землю легла,
Тихо сердце утолила.

Александр ПАПЧЕНКО

ЛИТ

Юльке Локишиной

Вот и солнце, вот и свет, вот и тени — это я. Все что я чувствую — я. Все что я вижу — я. Так устроен мир.

У куропатки есть и запах и тень. Я чувствую запах куропатки, сладкий запах её слезавшихся перьев, запах её помёта, и я знаю — это куропатка. Никому в голову не придет отделить запах куропатки от самой куропатки и понимать их отдельно. Невозможно охотиться только за запахом куропатки. Так же и человек — никому в голову не придет оторвать от меня руку и понимать её отдельно от меня. Или вот, я вижу на речном песке свою тень и понимаю — это я. Нельзя отнять от меня тень, унести её в другое место и оставить там. Тени нет без меня. Но и меня нет без моей тени. Во всяком случае, я никогда не видел себя таким. Но даже пусть и так. Пусть моя тень исчезнет. Тогда меня станет меньше на мою тень. Нельзя отнять от меня мою руку, унести её в другое место и оставить там жить. Рука умрет. И меня станет меньше на одну руку. Мне будет больно оттого, что меня станет меньше...

Или вот я вижу ветвь орешника. Из нее можно сделать рогатину. Я ломаю ветвь орешника. Я её обжигаю в костре. Я её ласкаю ладонями, приноравливаюсь к ней. Мои руки запоминают каждый бугорок её жилистого узловатого тела, каждый выступ — теперь эта рогатина часть меня. Потому что она стала продолжением моей руки. Уроню я её, наткнется на неё человек моего племени и почувствует — это я. Потому что у рогатины мой запах. А наткнется на рогатину незнакомец, ну хотя бы охотник из племени У — ему незнаком мой запах. Он вначале подумает о рогатине как о чужом человеке. Поговорит с ней, то есть со мной, незнакомым ему. Познакомится. Поднимет с земли, даст ей свой запах и рогатина станет им, став продолжением его руки. Мне будет больно оттого, что меня станет меньше на рогатину. И разве это не так? Разве не правильно, что все

что я вижу — это я? Разве вон та сосна, цепляющаяся корнями за песок на самом краю обрыва, не я? Разве это солнце, сверкающее в вышине, не я? Разве та, Имя Которой Произносить Нельзя, не я?

Например, идет Эли берегом реки, видит мою тень на песке, а я прячусь за деревом. Эли узнаёт меня по тени и не наступит на меня лежащего. Потому что моя тень и я, тот, что прячется за деревом, это все одно — это я, а Эли не такой человек, чтоб наступать на людей. Даже если это тень чужого человека.

Эли — та часть меня, что беззуба, мудра и седа. Осторожная часть меня. Задняя моя мысль. Несделанное впопыхах движение. Сгоряча не данное обещание. Моя скорая усталость на дневном переходе. Иногда моя бессонница. Вот что такое Эли. А еще Эли — мой дед, хотя это не так уж и важно.

Эли стар. У него нет зубов, а борода так седа и длинна, что напоминает клоч водорослей тянущихся за течением на перекате. Когда я был маленьким, мне казалось, что в его бороде заблудилась рыбка. Заблудилась и плещется, и стремится против течения, отсвечивая серебристым брюшком. Вот я смотрю на сидящего у костра Эли. Костров несколько и теней Эли столько же. Как сложно устроен человек, если может быть сразу таким разным?! Один Эли черный и очень длинный простирается до большого серого, в красных прожилках камня, лежащего у входа в пещеру. Этот Эли тягостно задумчив. И недвижим. Другой Эли толстый, как сам Оя. У него короткая шея и крючковатые руки. Смотреть мне на такого Эли страшно. Пламя костра окрашивают толстого Эли красным, и от этого он еще страшнее. Толстый сытый Эли лежит на земле, как обожравшийся паук... А вот Эли мерцающий. Его тень то гаснет, то вспыхивает, дробясь среди стволов деревьев — вот что делается в душе старика, хотя ему уже больше тридцати восьми зим! Эли, Эли... Тут я поднял глаза — в бороде старика плескалась рыбка. Я засмеялся — вот каким может быть Эли — рыбкой прячущейся в собственной бороде. Ну, разве не весело, каким может быть человек одновременно?

Но солнце еще не взошло. Солнце, этот огненный глаз плавающий в лоснящейся белизной выемке на голубом животе той, Имя Которой Произносить Нельзя, не взошло, потому что та, Имя Которой Произносить Нельзя, еще спит. И пока она спит, даже сам Вигару не решается ударить камнем о камень. Чтоб не тревожить её сон. Проснется она, и опрокинется над миром. Вглядываясь. И тепло и уютно

станет всякому человеку под животом, той, Имя Которой Произносить Нельзя. А ночью человеку неуютно. И страшно. Особенно когда та, Имя Которой Произносить Нельзя, разметаётся во сне, опрокинётся на бок, и тогда над человеком только мгла и в ней тлеют угли угасающего костра, той Имя Которой Произносить Нельзя. А погаснет её костер, отчего, скажите, она зажжет завтрашнее солнце?!

Страшно человеку ночью еще и потому, что он сокращается до размеров себя и его становится мало. Только мягкая кожа, только хрупкие кости и что-то еще, что стучит изнутри его, и трепещет и шевелится в нем. И нет в человеке уже той березы, что стоит на опушке леса. Той со сломанной верхушкой. И даже камень на перекате уже не часть человека. Тот большой серый камень, обглоданный рекой. Потому что темно, и березы и камня не видно. И сомнения одолевают человека — а ну как их там уже нет? Они исчезли и утром человек не сможет быть собой! Тем, которым был вчера! Ведь без березы и камня человек уже другой...

Во мгле человек так легко теряет себя. И если человек уже и не камень, и не береза, и не река, тогда он кто? Лишь бы хоть что-то осталось от человека, когда наступает ночь. Пусть даже только то маленькое, что стучит изнутри его...

Эли тридцать восемь зим, а мне пятнадцать. Как говорит Эли — пережил зиму, сосчитай её. Первые мои зимы мне насчитали, а остальные я уже сам. Вот мои зимы; Зима Голодная, Зима Большого Перехода, Зима На Новом Месте, Зима Болотных Псов, Зима «Мальчик мой», Зима Когда Мама, Зима Эли, Зима Дымная, Зима Один Туда и Один Обратно, Зима Больного Уха, Зима Учита-ту, Зима Тех Что Неподалеку, Зима Бесснежная, Зима Теплая, и Зима Которую Еще Нужно Будет Назвать...

Эта история началась давно, сразу после зимы которую я так и назвал — Зима Учита-ту. Учита-ту моложе меня. У неё нет родственников. Отец и мать Учита-ту, умерли в Зиму На Новом Месте. Учита-ту жила не в пещере как все, а под обломком скалы. В Зиму «Мальчик Мой», та, Имя Которой Произносить Нельзя, обрушила обломок вместе с другими камнями с вершины Горы, и он сполз к её подножию. Такой был грохот! Учита-ту тогда первой забралась в образовавшееся убежище, и такхватила зубами за руку сунувшегося было следом за нею Сына Салисы, что тот до вечера отмачивал руку в реке — вот такие зубы! Правда убежище оказалось неудобное, продуваемое насквозь. Говорят, что видели, как однажды в непогоду из него сквозняком вынесло костер. Но Учита-ту была рада и такому

убежищу. Еще бы, ведь раньше ей приходилось жалобно скулить у входа в чужие пещеры, пока какая-нибудь женщина, сжалившись, не позволяла ей погреться у своего костра.

Как-то в страшную Зиму Когда Мама, Учита-ту так же скулила, перебираясь от пещеры к пещере, а её никто не пускал, так как добыча в тот раз ускользнула от охотников и все были голодные и злые. Ветер леденил. Он уже охрип от воя, а тут еще Учита-ту скулит. Эли наконец сжалился над Учита-ту и пустил её за полог к нашему костру. И я проснулся. Я всегда просыпался, когда полог, тяжелая медвежья шкура, взлетев и опав, скреб обмякшими когтистыми лапами по каменному полу — значит кто-то вошел. Я проснулся. Я думал, это вошла мама и уже обрадовался. Я так обрадовался! Я даже забыл, что три дня назад мама ушла по Реке навсегда... Я различил чей-то силуэт, протягивавший к костру руки. А тень греющегося, отпечаталась на стене пещеры. Словно плыла по стене пещеры ко мне. Мама! Я вскочил... и увидел — это просто Учита-ту. Обыкновенная Учита-ту. Съежившись, вжавшись подбородком в колени, она испуганно косилась на меня, а я плакал от обиды. Как я мог обмануться? Но как я хотел обмануться! всю зиму я ненавидел Учита-ту...

Потом шло время. Зима за зимой. Учита-ту привязалась ко мне, и бродила следом как собака. Сын Салисы тоже ходил в моих друзьях. Я был самый сильный среди них и мне это нравилось. Мы вместе охотились на маленьких коричневых ящериц и жарили их на костре. Мы вместе забирались в заросли ежевики. А однажды мы ушли далеко, за поворот реки. Там, к перекаату, подступали сосны и было много земляники. Сын Салисы отговаривал меня и не хотел идти так далеко. Но кто же не знает Сына Салисы? Он всегда был робким...

Подобрав все ягоды вокруг, мы улеглись на песок на берегу реки. Было жарко, и я уснул... Проснулся я... не знаю почему я проснулся. Приоткрыл глаза — рядом со мной на песке валялась шкура Учита-ту, а сама она лежала в реке, среди камней на перекаате. Там было так мелко, что вода перекаатываясь через Учита-ту, и не в силах скрыть полностью её тело, урчала как кошка. Из омута, что рядом, тянулись по течению словно волосы, водоросли, и вплетались в Учита-ту. Вода сверкала, серебрилась на солнце, и поэтому Учита-ту тоже серебрилась, и казалась рыбкой в недоумении застывшей на перекаате. Рыбкой, которую так удобно, извинившись, проткнуть острой...

Учита-ту скосила глаза — я не отвернулся. Некоторое время мы смотрели друг на друга... Учита-ту вдруг медленно раздвинула ноги и у меня заломило в затылке. Прядь водорослей послушно изогнувшись, скользнула ей между колен. Затем собралась в жгут, в низу живота, и перетекла на узкий коричневый живот, покрыв его равномерно, оттуда на грудь, которая еще была плоская как моя, и затем обвила ей лицо...

И так мы смотрели друг на друга долго. Потом Учита-ту улыбнулась. И ушла с отмели. Почему она улыбнулась презрительно? Или мне показалось?

Или я не прав? Или эта история началась позже? Тогда, когда лето еще не наступило, а я должен был идти и прикоснуться к животу той, Имя Которой Произносить Нельзя?

Улекой еще кутался в тумане и поэтому костер еще горел у входа в пещеру. И его дым, смешиваясь с кислым запахом мокрой земли, не хотел улетать, а стелился. Как пёс. Как голодный болотный пёс. И еще тогда шел дождь. Ленивый. И светало. Я выбрался из пещеры. Я обошел стороной спящих у тлеющего костра. Рыжебородый, лучший воин и следопыт племени, проснулся. Приподнялся на локте. Встретился со мной глазами и вновь опустил голову на валежник. Хотя сон его теперь будет некрепок. Потому что та часть Рыжебородого, которая в нём я, будет смущать его моими сомнениями. Интересно, как велика в Рыжебородом та его часть, которая я? Зато мне сейчас так кстати уверенность Рыжебородого, его сила. Даже его оскаленные в приступе ярости клыки, мне сейчас кстати. Хотя такая улыбка вряд ли понравится той, Имя Которой Произносить Нельзя. И всё-таки я стал сильнее...

По тропинке я спустился к реке. Как я и чувствовал — река спала. Под дождем. Я перебрался на другую её сторону. Снял с ног чуфы, эти кожаные лоскуты, и сполоснул в реке. Вывернул их на изнанку и примотал к ступням так, чтобы ворс меха помогал мне взбираться на холм. Чтоб глина не выскальзывала из-под ступней. Кожаные ремни отсырели, и скользили в пальцах. Это мне неприятно. Это я не люблю — скользящее в руках. Это как опасность. Вот интересно, от кого это во мне? Кого из нашего племени испугала скользящая в пальцах опасность, что мне тоже теперь это страшно? Что это за чувство такое — страх? И почему это чувство такое — страх?

Так думая, я взбирался на холм. Внутри меня Рыжебородый спорил с Эли. Эли отговаривал меня —

Рыжебородый скалился... И почему это Рыжебородый сейчас сильнее Эли во мне? Тут я поскользнулся и упал. И больно ударился лбом о землю. В шерсть набилась глина и чуфы больше не задирали дорогу, а скользили.

Некоторое время, передыхая, я лежал на земле и думал о том, что у настоящего мужчины голова усеяна шишками. Это знает всякий. И я вспомнил, как был маленьким. Как шел от реки. Вот так же вверх. Мама стояла выше на берегу и звала. А я плакал и полз к ней. Плакал от досады, на дорогу, на себя, на маму. Тогда дорога также была мокра. И я также соскальзывал и пятался, и скатывался вниз на берег реки. И вновь полз. Потому, что мама звала. А я был тогда почти весь ею. А она мною. И казалось самым страшным разделить эти части — на нас. Я тогда еще не знал, что это невозможно... И этот страх потерять её во мне — гнал меня. Я полз, пока с размаха не ткнулся головой в её колени. Пока я больно не ткнулся лбом в её колени. Пока я едва не расшиб себе лоб о её колени. Но эта боль смешалась во мне с чувством покоя. Потому, что я достиг. Смог. Вот отсюда на голове появляются первые шишки у мужчин. И только потом уже — от дороги. Вот почему появляется спокойствие внутри человека, когда он достигает цели.

Я встал на четвереньки. Я ухватился одной рукой за ствол орешника у самого его основания, другой рукой за другой ствол и, чувствуя, как больно сейчас орешнику оттого что я гну и ломаю его, и от этого чувствуя боль в себе, все же пополз вверх. Пополз, стряхивая на себя задержавшийся в листьях кустарника дождь.

Я достиг вершины. Я стоял на ней на четвереньках и боялся разогнуться. Я глянул вниз — Улекой прятался в дожде. Вершина соседней сопки тоже пряталась в дожде. Где-то там, внизу, за невидимой отсюда рекой, наше стойбище. Но его, как и реку, не видно. Не видно! Едва я это осознал, как меня неожиданно стало очень мало. Это сделалось со мной вдруг, как будто я в одном стремительном прыжке сузился. И я тут же стал неуклюжим, жалким, стоящим на четвереньках, человечком. У меня закружилась голова от страха совсем исчезнуть. Я лёг на землю и обхватил её руками. Я лег на землю и прижался к ней. Вцепился в неё. Так, что ногти заломило... Ногти заломило и я перестал стремиться к себе. Я остался в этом видимом мне круге травы и деревьев. Но этот я был так жалок... А над головой туман. Если я встану, я наполовину исчезну в нём. Это-то и страшно... Оттуда, с нашего стойбища туман как облако. Как твердое облако, похожее на камень. А оно не камень. Если

бы я мог дотянуться до той, Имя Которой Произносить Нельзя из другого места! Вот зачем я сюда пришел – чтоб прикоснуться к ней. Я поднял руку. Начиная от локтя она таяла и исчезала в облаке. Я пошевелил кончиками пальцев. И удивился, что они еще есть где-то... Чтоб прикоснуться к теплому животу той, Имя Которой Произносить Нельзя, следовало встать. Встать и нырнуть в эту белёсую пелену. В это ничто. И раствориться в тумане. Перестать видеть даже себя! Так вот почему так отговаривал меня старый Эли идти на Гору. Ты еще мал, говорил он. Вот почему скалился Рыжебородый. Ты еще слаб, скалился Рыжебородый. Они знали – для того чтоб прикоснуться к животу той, Имя Которой Произносить Нельзя, нужно потерять себя. Исчезнуть. Умереть.

Меня прошиб холодный пот. Или это дождь? А вдруг после возвращения я перестану быть тем, кем я был, думал я. Потерю себя того, который я есть сейчас, думал я. Колени дрожали. А вдруг я совсем перестану быть, думал я. Вдруг не вернусь никогда, думал я?

Уж я не тот человек, что может долго терпеть. Хоть даже и страх. Поэтому некоторые думают, что я отчаянный. А я не отчаянный, я просто долго не могу терпеть. Вот я и вскочил. Зачем? Кто мне скажет, зачем я боюсь страха прослыть трусом, более страха погибнуть, скажем, в пасти пещерного тигра? Или страха исчезнуть в тумане? Потому что страх прослыть трусом будет грызть меня изнутри долго, а я не могу терпеть. Такой я.

Цепenea от ужаса, я вскочил. И поперхнулся белёсой мглой. Пустота вытаращила на меня свои жуткие бельма. Я захлебнулся ужасом, и... я остался? Не было ничего, а я был?! Я не исчез полностью! Что за страшное чувство быть, когда ничего нет?! Зачем оно, это чувство? Зачем я, если нет ничего? И тут моя рука простертая ввысь, прикоснулась к чему-то теплому и мягкому... К ней! К животу той, Имя Которой Произносить Нельзя! И это прикосновение повергло меня на землю. Я упал. Я плакал от счастья. Или смеялся? Я катался по мокрой земле и плакал и смеялся – я понял! Я понял что та, Имя Которой Произносить Нельзя, подвергла меня испытанию. Научила меня быть даже тогда, когда нет ни деревьев, нет ни сопок, ни травы, быть тогда, когда нет ничего.

Вот какой я теперь – теперь я мужчина, думал я, мчась с горы! Теперь мое место у костра среди мужчин, радостно думал я, несясь с горы! Теперь я смогу быть на равных с мужчинами, думал я! Вот как может думать человек, если он

счастливы...

Нет, всё-таки эта история началась на следующий день. Точнее, на следующую ночь. Тогда как раз вернулся Рыжебородый с добычей. С тем кабаном. С тем огромным жирным кабаном. Вот не знаю я, как уж там Рыжебородый просил прощения у своей добычи, но мне почему-то кажется, что может и плакал. Уж очень силен был тот кабан! Что за огромные желтые клыки! А лоб — камень! А копыта? Можно понять Рыжебородого, как ему жалко было лишаться части себя, воплощенной в таком могучем облици!

Костров должно быть много — всякий знает. Разве согреешь живот той, Имя Которой Произносить Нельзя одним костром? К тому же, чем больше костров, тем больше теней! Что за радостное зрелище — эти мечущиеся по поляне, по стволам деревьев, по каменистому откосу, тени! Вот как много нас! Ух! Вот какое мы сильное, большое племя!

Мы наконец согрели своими кострами живот той, имя Которой Произносить Нельзя, и она перевернулась на бок, отстранилась, и стал виден круглый желтый камень на стене её пещеры. Когда та, Имя Которой Произносить Нельзя бьёт в него, бледнеет даже Вигару, такой это грохот и такой это свет.

А сейчас нам весело. Мяса, что принес Рыжебородый, хватит на всех. Даже старикам достанется. И вот я, сидящий среди мужчин, улучил момент, когда у всех рты были заняты, отхватил кусок и снес Эли. Рыжебородый рыкнул на меня, но слишком он сыт сейчас, чтобы злиться. А толстопузый Ух ощерился. И закашлялся. Это он так смеется. Он смеется так, что складки его живота, лоснящиеся от жира, стекающего на них изо рта Уха, начинают смешно шевелиться и подрагивать. Как будто живот смеется отдельно от Уха. Отдельно — правда это смешно? Помню, в зиму «Мальчик мой», я приходил смотреть на его живот и смеялся. Вот и сейчас, от соседнего детского костра раздался хохот. А маленький Чок лишь покосился в мою сторону... Ох, уж этот Чок. Низкорослый, и голова его, как моя босая пятка. И он никогда не ходит прямо. Даже направляясь к себе в пещеру, делает крюк. Потому что Чок хитрый. А Сын Салисы даже не посмотрел на меня. У него такие длинные волосы и он так низко склонился над пищей у себя на коленях, что я лица его не вижу. Он робкий. И еще Чужой, Тот Которого Оставила Женщина. Никогда не поймешь, о чем он думает. Скрытный он, этот Чужой.

Вот так мы сидели у костра, и я был в тот момент немножко скрытным, как Чужой, робким как Сын Салисы, смелым как

Рыжебородый, хитрым как Чок и веселым как Ух. И даже Оя, печальное божество Оя, наверное присоединилось к нам, потому что роса в ту ночь так долго не выпадала. И то, не всё же Оя бродить по лесу и плакать в папоротниковых зарослях?

Вы спросите, где был Вигару? У Вигару свой, отдельный костер, потому что он должен неотступно присматривать за Воа. Ох, уж и тяжелый характер у этого божества!

Потом все стали жевать листья сакты. Вот с этого то всё и началось. Вся эта история. С листьев сакты.

Едва все насытились — Вигару дал знак. У листьев сакты пряный вкус. И язык от них становится шершавым и отказывается служить человеку. Да и зачем человеку язык, если он не может высказать то, что он в этот момент чувствует?

Если бы круглый желтый камень той, Имя Которой Произносить Нельзя, сорвался со стены её пещеры и рухнул наземь, я бы не удивился, так мы веселились. Все оставили свои костры и перемешались. Жирный Ух посыпал свой живот пеплом. Там, где на его животе был липкий жир, пепел прилипал и получались полосы. Рыжебородый, тяжело ступая загнутыми внутрь как клешни, волосатыми ногами, подошел к одной из женщин, сорвал с неё шкуру, опрокинул навзничь и стал владеть ею, размеренно хакая, будто рубил дерево. Чок вертел головой, как селезень усмотревший в пламени костра пищу, пока у него не закружилась голова и он не повалился, с застывшей на лице благодостной гримасой. Дети метались словно брызги. И визжали. Кто-то, мочился поодаль. Кто-то упал в костер, но его тут же выдернули оттуда, даже шкура накинутая тому на плечи, не успела заняться, и это так развеселило Сына Салисы, что он стал икать. Он бродил между кострами и икал, как проклятый самим Вигару, пока не наткнулся на Учита-ту. Да, так и было. Учита-ту рыжая. И я не знаю почему, но Учита-ту смуглая, хотя в племени таких смуглых больше нет. И на ней лоскут шкуры медведя. Так как ей четырнадцать зим, детей у неё еще не было и поэтому, нельзя было понять, как она хороша. Насколько она будет хороша. Будет ли она хороша так же, как мясистая Усса, которая каждый год приносит потомство? Вот и сейчас Усса с животом, а значит племя скоро станет еще сильнее. Хороша Усса! Раньше я думал — стану мужчиной и тут же овладею Учита-ту. Но чем ближе становился день, когда я должен был идти на Гору, чтоб коснуться живота той, Имя Которой Произносить Нельзя, тем больше я сомневался. А сможет ли узкое лоно Учита-ту

вместить в себя ребенка, посланного мне той, Имя Которой Произносить Нельзя? И способно ли оно вообще принять его? А если я овладею ей, а ребенка не будет? Кем я буду? Как Оя я буду... Потому что скажут — вот идет тот самый Мадо, которому та, Имя Которой Произносить Нельзя, отказала в своей милости. Я думал, может сначала овладеть Усса? Или я боялся Учита-ту? Или я помнил презрительную её улыбку, ту, которой она улыбалась тогда на мелководье? И, если она так мне улыбнется и я не смогу стать мужчиной — вот это будет смех! Но вот теперь когда икающий Сын Салисы стоял и смотрел на Учита-ту, я вдруг понял, что хочу владеть ею сам. Или так — не хочу чтобы ею овладел Сын Салисы. И даже в голове у меня помутилось. У меня заболела голова — я бросился к Сыну Салисы и оттолкнул его. Тот споткнулся и рухнул наземь. И заскулил, держась за ушибленное колено. Заскулил как побитый пес. И та часть моей души, которая была Сыном Салисы съезжилась. Потому что я так страшно ненавидел его в себе. И если бы не листья сакты, я бы наверное испугался этого. Как можно ненавидеть часть себя? Но я был горд и я не думал. Я положил руку на грудь Учита-ту. Накрыл её левую грудь ладонью как птичку, и понял что сейчас овладею Учита-ту. Немедленно. Так сильно мне захотелось её. Я много раз видел, как это делают другие мужчины и, подражая им, сдернул с Учита-ту шкуру, в которую та куталась. Учита-ту оскалилась краем рта — острые зубы. Ощерилась, как пойманная в западню ласка. Но без отчаянья. И без презрения. Потом глаза Учита-ту расширились, и в тот же миг кто-то больно двинул меня в плечо. Я отлетел в сторону и едва удержался на ногах. Оглянулся — Рыжебородый. Он, оказывается, не насытился. Рыжебородый стоял раскорячившись и напоминал выброшенную рекой на берег корягу. Отвратительную корягу, облепленную рыжими водорослями. Под тяжелым взглядом Рыжебородого все попятились, признавая его право владеть Учита-ту... Сын Салисы подвывая и приволакивая ушибленную ногу пополз прочь. Рыжебородый посмотрел на меня, глухо рыкнул и ощерился. Все смешалось во мне и я потупился. Удостоверившись в своем превосходстве, Рыжебородый коротким уверенным движением согнул Учита-ту. Согнул её так, как сворачивают голову утке. Когда уток так много, что у охотника кружится голова от изобилия. Когда в запале охотник так торопится, что забывает извиниться перед уткой, прежде чем скрутить ей башку — вот это-то меня и взбесило.

Не отворачивая от меня лица, и не переставая щериться,

Рыжебородый приступил к Учита-ту. Тогда я схватил с земли увесистую дубину и опустил её на голову Рыжебородого. Рыжебородый упал. Нехорошо упал. Как камень, или как что-то плоское. Какое-то время никто не знал что и подумать о случившемся. Учита-ту посмотрела на меня так, как я потом вспомнил, убегая, и с воем вцепилась мне в лицо ногтями. Ух! Разрывая его. А её зубы впились в мое плечо. Я оттолкнул её и бросился бежать. Что я наделал?! Я убил Рыжебородого. Быть может мне бы еще и простили, если бы я убил самую смелую часть только в себе, но я убил её в каждом из нас. Что такое каждый из нас без отваги Рыжебородого? Это половина каждого из нас...

Я бежал и вдруг вспомнил то, как на меня посмотрела Учита-ту и даже остановился от боли — глаза Учита-ту из темноты на меня смотрели презрительно. Как тогда, когда она была серебристой рыбкой на перекате. Уф!

Вот опять, та, Имя Которой Произносить Нельзя, разожгла Солнце и пустила его к себе на живот кружиться. Я лежал на нагретой спине валуна и смотрел, как липкий туман убирается за дальние сопки, уволакивая мои ночные страхи. Прошло время с тех пор, как я бежал. Днем я искал съедобные корешки и охотился, а вот ночью... Ночью, забившись в расщелину у подножия Горы, я плакал и стонал вместе с Оя, я угрюмо пыхтел и скрежетал зубами вместе с Воа, я молил ту, Имя Которой Произносить Нельзя и всё равно был одинок и так мал, что наступи на меня в тот момент куропатка, я бы верно погиб под её стопой. Дрожа от холода, я раздувал ноздри, принюхиваясь, я всматривался в мрак, я ловил каждый шорох, каждую, самую неверную тень или отблеск в чаще леса, чтобы быть чем-то большим, чем я был на самом деле.

А однажды мне приснилась серебристая рыбка. Она плескалась у Эли в бороде. У рыбки были бедра, как у Учита-ту и лоно. Я обнял рыбку, я привлек её к себе, и ощутил её трепещущую подо мной, я слился с ней, и меня бросило в жар, наконец-то я был не один! Но тут старик Эли открыл рот и рыбка послушно заплыла туда. А я вновь остался сам с собой...

— Что ты надумал, Эли! — воскликнул я и проснулся. Некоторое время я был неподвижен во мраке. Я сидел в темноте, пораженный своим одиночеством неожиданно увиденным как-бы со стороны. Я сидел, словно во рту Эли. Затем, на ощупь, я выбрался из пещеры, вскарабкался на валун и завыл. А мне в ответ из чащи — волк. И я заплакал.

Что же я, волк разве, той частью себя, которая во мне теперь ничья?!

Так шло время. Пришлось устраиваться на новом месте. Я натаскал в свою расщелину хвои и принялся обозначать себя. Пока я жил в племени, обозначать себя не было нужды. Без всяких отметин было видно, что нас много, что мы сильны, что мы здесь и что весь этот мир уже чей-то. Но когда ты один, ты не так заметен.

Однажды, в начале дня, я точно также, как сегодня, лежал на спине валуна, смотрел, как туман уволакивает ночь, и вдруг почувствовал страх. Он был маленький и мохнатый, и как бы даже еще и не сам страх, а тягостное предощущение страха. Я насторожился и ощутил, как по самому краю осязаемого мной мира, там, где от него оставались едва уловимые запахи и невесомые шорохи, двигалось что-то. Время от времени оно замирало и я, почти теряя его, тем не менее, знал, оно здесь и оно тоже чувствует меня, как необъяснимую тревогу...

Он был из чужого племени, этот мужчина. Я понял это за миг до того, как он выступил из-за сгрудившихся в глубине распадка деревьев. Он был высок и немного нескладен — то есть его голова покачивалась на длинной шее, словно под ветром. Но это он так прислушивался. Густые черные волосы спускались по загривку до середины спины. На плече у него лежала короткая узловатая дубина.

Незнакомцу предстояло пересечь открытое пространство и, почувствовав как он напрягся, я напрягся вместе с ним. От незнакомца пахло водой и страхом. Водой потому, что он шел со стороны реки, а страхом потому, что он забрался далеко, стал одинок и понимал это.

И я подумал так — иди, незнакомец...

А он подумал — где ты прячешься?..

А я подумал — иди...

А он думал своё — а вдруг...

Часть меня, наполненная незнакомцем, дрожала его страхом перед невидимой опасностью...

А я подумал о Рыжебородом. Он тоже уходил далеко и ему было тревожно одному. Но он нёс в себе и меня тоже, и ему было легче от этого, а я его убил... Всё во мне возмутилось, от такого себя. Незнакомец вздрогнул, снял с плеча дубину и, обернувшись ко мне, попятился, низко склонившись, словно готовясь отражать нападение и, не разгибаясь, поспешно пересек открытое место и скрылся в лесу. И его страх стал моим и я еще долго потом не мог отделаться от ощущения, что боюсь себя. Раньше такого со

мною не случилось.

Я пошел по следам незнакомца и достиг одинокого утеса на краю леса. Обычно так далеко я раньше не заходил. За утесом был незнакомый мне мир, с его перелесками и лугами. Там, в траве сверкала вода и кричали птицы. Хорошие птицы. Вкусные. Но уйти от себя туда я не решался. Вот Рыжебородый, тот да, тот мог...

У подножия утеса я наткнулся на метку, оставленную незнакомцем. Она стояла невысоко. Я знал, что незнакомец мог бы помочиться и выше. Он мог бы разбросать свою метку широко, гордо, но не сделал этого. Скромно обозначил себя у подножия скалы и ушел. Я понял — незнакомец почувствовал границу моего мира, как окончание собственного страха, и благодарил меня за то, что я его оставил... И я в волнении перебил его метку своей.

Потом я нашел крепкую сучковатую палку нужной длины и принялся обозначать себя. Я ел можжевельниковые горькие ветви, листья земляники, немного папоротника, отвратительного на вкус, затем приставлял свою палку к дереву, взбирался по ней и мочился на соседнее дерево. Мои метки должны были стоять достаточно высоко чтоб чужой, случайно оказавшийся здесь, понимал, как я силен — вон какого я роста. И в тоже время, они не должны были пугать его своим резким запахом. Я просто говорил, что этот мир уже есть... И он уже такой. Я требовал уважения от незнакомца, а не страха.

То, что это Сын Салисы, я понял сразу. Он еще огибал поверженный бурей ствол сосны за два поворота от того места, с которого бы я мог его видеть, а я уже знал — это Сын Салисы. Я слышал его робкие неуверенные шаги и еще какой-то глухой, ритмический звук — наверное в руках у него была палка. Вот Сын Салисы остановился у второго поворота. Да, там земляничная россыпь, вспомнил я, и испугался, что он только для того и проделал свой путь, чтоб поесть земляники и вернуться. И я вновь останусь один. Я вскочил. Я хотел бежать ему навстречу... Но вот ведь как устроен человек — одному ему плохо, а бежать навстречу он не хочет! Но нет, вот Сын Салисы двинулся дальше и вдруг вновь остановился. Это он у моей метки, догадался я.

Когда Сын Салисы показался из-за деревьев, я сделал вид, что его приход мне безразличен. Я играл в камешки. Знаете как? Это когда два камешка лежат. Затем один из них подбрасываешь, и пока он летит, нужно поднять второй, и той же рукой успеть поймать падающий камешек. Детская игра. И тем не менее, когда Сын Салисы показался из-за

деревьев, я уронил камешек. И он запрыгал, зацокал вниз по откосу. Сын Салисы проследил за его падением, да так и остался с опущенными глазами. И у него действительно была палка — сосновая, обожженная, вверху небольшая рогатина, нижний конец заострен.

— Ты, вот... — сказал он, съежился и замолчал.

Вот какой робкой частью прирос мой мир, но я и ей был так рад, что не объяснить!

— Знаешь, Рыжебородый умер... — сказал Сын Салисы и вновь замолчал.

И хоть я это знал еще в тот момент, когда увидел как плоско Рыжебородый упал, мое сердце сжалось.

— Я пришел сказать... — сказал Сын Салисы и снова замолчал.

Так невнятно и медленно он говорил всегда и раньше это меня злило. Но сейчас я так рад был его приходу!

— Они не хотят тебя... — сказал он.

— Не хотят... — задохнулся я от боли.

— Совсем, — сказал он.

— Совсем, — эхом, я.

— Потом, когда-нибудь...

— Когда-нибудь...

— С горы будет видно, — сказал он и пошел. Я смотрел ему вслед. Сын Салисы уходил и я уменьшался вместе с ним. Мой мир. И я думал; какой он маленький, мой мир, если даже такой человек как Сын Салисы, способен его наполнить собой?

Конечно я не пошел на Гору. Я затаился в зарослях ежевики, где река в последний раз, прежде чем броситься прочь, в луга, оборачивается к горе. Я устал ждать, пока вдали не показался погребальный плот. Связанные между собой стволы деревьев, ветвями, лишенными листьев, царапали воду, точно так же, как сейчас в стойбище женщины нашего племени раздирают себе лица ногтями. Но я не женщина. Я зачерпнул ила. Холодного ила со дна реки. И опустил в него лицо. И пошел себе прочь. Тяжело будет плывущему на плоту Рыжебородому повстречать своего убийцу, пусть даже скорбящего...

Через пару дней, в сумерках, я пришел в стойбище за огнем. Мне предстояло жить одному, а что такое человек без своего костра? Я бы мог не прятаться, меня бы никто не тронул. Рыжебородый умер — мир съежился. Погибну я — мир сократится еще. Зачем? Но я не хотел видеть, как они, люди моего племени, будут отворачиваться от меня. Поэтому я подкрался со стороны леса, рассчитывая взять огонь, когда

все уснут. Псы, которых здесь у стойбища шныряло множество, учуяли меня, но знакомый запах их успокоил. Я гладил их, а они урчали и облизывали мне колени. От пещер стойбища доносились голоса мужчин, преувеличенно мужественные, обозначающие готовность дать отпор прячущейся в ночи опасности. Пахло жарящимся на углях мясом. Женщины перекликались, созывая припозднившихся детей. Голоса женщин летели далеко в прозрачном вечернем воздухе, и от этого казались особенно печальными и одинокими, как вопли гагар, отбившихся от стаи. У меня сжалось сердце от жалости — от реки шел Эли. Я ведь совсем забыл о старике. Кто его теперь накормит?!

Покачиваясь от усталости и тяжело переставляя ноги, Эли поравнялся со мной и неожиданно оглянулся в мою сторону. Я испуганно ткнулся лицом в землю — вдруг Эли почувет меня и выдаст неосторожным жестом! Когда я поднял голову — старик удалялся. Его тень волочилась за ним как побитая...

«Чего я жду?» — подумал я, и выбрался из укрытия. Едва я миновал крайние пещеры, где селились молодые охотники, как встретил Чужого, Которого Оставила Женщина. Увидев меня, он закрыл уши руками и отвернулся. И так стоял, немой... Их мир, больше не мой. И что я без них? Только я. Только мои глаза, мои уши, мои руки — вот какой я маленький. Я шел, а все встречные закрывали уши и отворачивались... Из пещеры выбежал ребенок. Следом женщина. Глупый ребенок, сунув палец в рот, с интересом уставился было на меня, но женщина спохватившись, закрыла ребенку уши и прижав к себе, увела его в пещеру. Один лишь Вигару сидел недвижимо у большого костра и его взгляд пронзал меня, не задевая так, будто меня не было. Быть может потому, что сегодня его лицо украшали зеленые разводы... Разве сегодня праздник?

Я взял из костра дымящуюся головню и, почтительно обойдя стороной лежащую на земле тень Вигару, направился прочь. И замер. Это Вигару приказал мне остановиться. Мой затылок потяжелел под его взглядом, у меня заломило в висках от мудрости Вигару, которую я ощутил, как струящийся сквозь меня поток. Как поток, который увлекает меня. И я, как щенок брошенный с берега на стремнину, барахтаюсь и захлебываюсь в нем...

— Ты найди себе женщину, — сказал Вигару, — И это будет верно. И пусть она родит тебе сына. И это тоже будет верно. И вот тогда ты вернешься. И вот это и будет верно.

Голос Вигару звучал во мне, как мой собственный...

— Потому что Рыжебородого больше нет...

Голос Вигару затухал во мне...

– Старого Эли можешь взять себе... И это будет верно. Ты не умер.

Я не умер, задохнулся я от радости! Я жив! Еще некоторое время я стоял оглушенный, не смея пошевелиться, дышать не смея. Потом поднял глаза — пологи ближних пещер были приподняты и длинные языки света, от горящих внутри пещер, костров тянулись по каменистому откосу. И еще тени. Тени от стоящих внутри пещер людей тянулись ко мне. Все эти люди сейчас прислушивались к нашему с Вигару разговору, не решаясь выйти из своих убежищ. Значит меня простили! Не то, чтобы совсем простили, но хотя бы прислушиваются... Значит я жив! Это быстрое прощение тогда мне не показалось странным. Я забыл вспомнить, как Сын Салисы просил меня не появляться в стойбище. Это потому, что я тогда еще не умел понимать вещи раздельно друг от друга. Я тогда думал о том, что я обязан взять Учита-ту себе. Я убил Рыжебородого и теперь должен кормить Учита-ту. Она мне родит сына, думал я. Вигару будет доволен, все будут довольны, и я вернусь в племя. А о том, о чем я не хотел и боялся думать, я не думал.

Я ушел из стойбища... Эли я забрал себе. Кто будет кормить чужого старика? Едва я сбежал, Эли тут же ушел в нашу пещеру и почти не покидал её, доедая прокопченное над костром мясо из наших старых запасов. А что потом? Потом бы Эли умер и его бы отправили вслед за Рыжебородым по реке. Каждый старик знает, что он живет, пока живет хотя бы кто-то из его потомков.

Однажды сидя с Эли у костра я подумал, что будь он рядом со мной всё это время, меня бы не выгнали из племени. Во всяком случае, ударил бы я Рыжебородого слабее. Ну покусал бы он меня... Эли лишь улыбнулся.

На новом месте Эли начал обустроиваться. Уходя из поселения Эли прихватил с собой нашу медвежью шкуру-полог, которой теперь занавесил вход в расщелину. Дальний её угол завалил травой с излучины реки. У входа расчистил место для костра и наносил валежника, и наша пещера уже не казалась мне чужой. Трудился Эли в одиночку, потому что я охотился. Возвращаясь с добычей, я радовался видя сидящего на валуне у входа в жилище Эли. Если я возвращался с пустыми руками я знал что не останусь голодным — уж кто-кто, а запасливый Эли что-нибудь да придумает.

Как-то преследуя бурундука я забрел к одинокой скале на краю леса, той самой, на которой когда-то незнакомец

оставил свою метку. Сразу за скалой простирался луг, но высокая луговая трава даже здесь на опушке леса царапала мне лицо и это раздражало. Солнце подобрало тени, чтоб те не волочились по земле, как медвежья шкура накинутая на ребенка, и было жарко. Досадуя на себя, за то, что утратил след бурундука, я решил было возвращаться, когда моих ноздрей коснулся чужой запах. И не то чтобы он испугал меня, но волосы на затылке неприятно пошевелились. Я пригладил их и стал принюхиваться. Да, это были люди. Незнакомые. Несколько. Смятение и ужас овладели мной. Если где-то когда-то человек и может быть своим носом, то сейчас я стал именно таким человеком-носом. Вот запах пота. Я почувствовал его соленый привкус у себя на языке. Запах выделанных шкур. Шкуры нашего племени пахли по другому, потому что их соскребали... Я не успел додумать, как почувствовал запах обожженного дерева. Так пахнет обугленная на костре рукоять рогатины, когда её запах смешивается с запахом ладони, держащей её. Эти запахи не были знаком плохих намерений, и я несколько успокоился. И в этот момент я почувствовал женщину. Женщина! Я прислонился к скале... Женщина, не об этом ли говорил Вигару? Нужно украсть женщину! У меня заболела голова... Что делать? Если бы можно было посоветоваться с Эли! Но желание уже овладело мной. Я упал на землю. Вбирая в себя запахи травы, я принялся кататься по земле. Но тут кто-то голосом Эли сказал внутри меня; оставь это, так свои запахи не перебить. Это верно, понял я. Разве что зайти с подветренной чужакам, стороны.

Согнувшись, я утонул в траве. Лишь бы только ветер не переменился — сейчас он дул мне в лицо. Я сделал несколько шагов и из-под ступней брызнула вода.

«Это хорошо, — обрадовался я, — Если придется убежать, то бежать нужно через луг — к воде запах не липнет. Хотя с другой стороны, ноги проваливаются в зыбкой почве. К тому же на траве все равно останется запах. Нет уж лучше взять левее, вон взгорок...»

Так думал я, успокаивая себя. С женщиной на плече, разве убежишь от мужчин? Никогда. На что я надеялся? Если бы я мог думать, я бы не надеялся. Но запах женщины кружил мне голову. Слова Вигару звучали во мне. Желание владело мной, заглушая то маленькое, что скулило внутри меня и жалось в уголок, и царапало меня изнутри своими шершавыми паучьими лапками...

Я бежал с закрытыми глазами и меня ничто не отвлекало от следа. Запах, то бросался мне в ноздри, и тогда я обмирал

от близости чужих, то истончался, и я, боясь потерять след, возвращался на несколько шагов, находил его, и вновь бежал.

Наконец запахи стали настолько сильны что я вынужден был остановиться и осторожно приподняв голову над травой, оглядеться – вот они! Чужие! Несколько едва различимых точек, брели друг за другом по склону холма, возвышающегося по ту сторону луга. И какая-то из этих едва уловимых точек была женщиной.

Я вдруг почувствовал их. Я понял с какой опаской смотрят они сейчас на незнакомые им горы, как им неуютно и тревожно. Как у вожака сводит от напряжения пальцы, сжимающие дубину. И от этого его ладони потеют. И этот запах далеко слышно. И вожак знает что слышно. И поэтому ему еще тревожнее. «Зачем мы здесь?» – думает он. Волнение вожака передается следующим за ним мужчинам...

Ветер изменил направление и, чтобы и далее оставаться незамеченным, мне пришлось пристроиться вслед за идущими. Я шел за ними, всматриваясь в каменистую почву у себя под ногами и надеялся найти хотя бы что-то. Смятая травинка, или отброшенный в сторону камень могли бы мне рассказать о чужаках. Но следов было мало, и это меня пугало. Значит среди чужаков не было ни детей и ни старух. Старики, те знают как надо скрывать свои следы, а вот старухи... Передо мной шли люди опытные, охотники, воины, а вовсе не кочующее племя, откуда, конечно, похитить человека проще... Что это? На травинке красная точка. Я присмотрелся – кровь! Кровь женщины. Молодой женщины. Веселой. Вот здесь она зачем-то отбежала в сторону – вон куда укатился камень неосторожно отброшенный её ногой. Здесь она зачем-то сорвала несъедобную траву. Вот опять кровь... Зачем они, эти опытные люди, взяли с собой женщину? Я слизнул её кровь с травинки и ускорил шаг. Эта женщина будет моей, в этом я больше не сомневался.

Я увидел впереди себя мерно раскачивающие спины чужих и, как учил меня Эли, потупился. И обрел бредущих вереницей чужаков без смятения. Я извинился перед вожаком и дал ему понять, что я не вооружен.

«Я стал на твой след и недопустимо близко приблизился к тебе и твоим людям, но ты не опасайся. Ты не запнешься за мою тень. Ты не запнешься за мою тень. Не запнешься. Ты не запнешься», – твердил я, нагоняя идущих.

Все было неправильно, но сосредоточившись на разговоре с вожаком, я об этом вначале не подумал. А потом я увидел женщину. Невысокая. Черные волосы разметало, словно

ветром золу перегоревшего костра. Потрепанная шкура. Зим ей пятнадцать. Так я её видел. Женщина вернулась от кустарника, куда вновь зачем-то отбежала и пристроилась вслед за последним из идущих. И тут я подумал, что всё неправильно. Женщина должна идти в середине группы. И главное — не было замыкающего, того кто бы охранял идущих от нападения сзади.

«Вдруг замыкающий отстал! — испугался я, — Отстал и сейчас набросится на меня. Прыгнет мне на спину!»

Я затаился, и некоторое время ждал, но замыкающий так и не появился. Его не было. Странно...

По левую руку от меня возвышался склон холма, по правую тянулись заросли кустарника. Вожак вел своих людей по склону, чуть выше кустарниковых зарослей. Если опасность будет грозить с вершины холма, можно быстро уйти в заросли, если группа подвергнется нападению из кустов, можно отступить на вершину холма и оттуда, сверху, отразить нападение.

Я спустился чуть ниже по склону, и прячась в кустарнике, стал нагонять чужаков. О, та, Имя Которой Произносить Нельзя, защиты меня!

Я закрыл ей рот ладонью. Я закрыл ей рот ладонью, когда она в очередной раз отбежала к кустарнику. Она в очередной раз оставила мужчин, отбежала к кустарнику и принялась обрывать с ветки, какой-то листочек. Глупая женщина! Я лежал в траве у её ног. У самых её ног, но она не чувствовала меня. Мужчины её племени уходили за очередной поворот, а я смотрел снизу вверх на женщину обрывающую глупый листочек с ветки. Вот каков я! Её запах оглушил меня. Бедра у неё были шире чем у Учита-ту. Шире. Соски её груди указывали в разные стороны. В разные! На животе её ни волоска. Ни волоска! И тогда я закрыл ей рот ладонью. А в следующее мгновение я уже мчался. Я бежал вверх по склону холма, взвалив женщину себе на спину. Пусть это будет олененок, думал я, чтоб не думать о погоне. Женщина прокусила мне руку, которой я закрывал ей рот, она била меня и вырывалась, но у меня не было времени чувствовать боль. Пусть это будет олененок, думал я...

Я выбежал на вершину холма и остановился. Меня поразило то, о чем я подумаю позже, потому что сейчас я мог думать только о погоне, смотреть мог только себе за спину, удерживать мог только женщину у себя на спине. Но погони не было. С вершины холма я видел уходящую вдаль вереницу чужаков. И, я не верил своим глазам, но их шаг стал шире. Да, шире! Этого нельзя было понять! Я украл у

них женщину, а им безразлично. Неужели они такие трусы? Нет, я их не чувствовал так. Но тогда почему они не догоняют похитителя своей женщины? Тут я вспомнил о том, что меня поразило — река! Отсюда с вершины холма я увидел реку и то, что простиралось за ней. Раньше я был уверен что река, обогнув стойбище, уходит в луга навсегда, а оказывается нет, она позже возвращается ... Я сбросил женщину на землю. Она принялась шипеть на меня, как рассерженная кошка, а мне не было страшно. Я смотрел на реку, которая словно змея, сверкая на солнце чешуёй, уползала в луга, чтоб вонзить свое жало в мышь, прячущуюся за горизонтом. Я смотрел на огромные пространства за рекой, на синеющие вдалеке леса — мир был огромен. Соединяясь со мной, этот огромный мир, дарил мне то величие, чувствовать которое раньше мне не приходилось. Сейчас я был рекой стремящейся к горизонту, а еще я был заречными лугами, а еще во мне простирались те леса, что таяли вдалеке. Вот каким большим может быть человек!

Я оглянулся — женщина была покорена моим величием — она заморожено смотрела вдаль.

— Тебя как зовут? — спросил я женщину.

— Лит... — прошептала женщина, не отводя взгляда от горизонта и от звука

собственного голоса опомнившись, набросилась на меня как взбесившаяся рысь, а я рассмеялся. Я отталкивал её, не позволяя расцарапать себе лицо. Достаточно было прокушенной руки. Верно? Потом Лит сорвала несъедобную травинку и уставилась на неё. Глупая, Лит.

Лит тащила за мной по гребню холма и тихо шипела мне в спину. Я не боялся, что она уйдет — куда ей уходить. Разве она сможет жить, если рядом с ней не будет мужчины? Ну, найдет себе другого мужчину, но кто сказал, что он будет лучше меня? Когда шипение стало надоедать, я разыскал в траве чесночный корень. Выдернув его из земли и отряхнув, я протянул его Лит — на ешь. Ешь Лит. И ты станешь красивой, как Усса. У тебя, Лит, будут бедра как стволы сросшегося дерева, и у тебя будет большая, наполненная молоком, грудь как у Уссы, чтоб кормить моих детей. Которых ты родишь мне. Ешь Лит. Лит подумала, и взяла чесночный корень...

Солнце догорало. Я спешил вернуться к Эли до наступления темноты, но ночь обогнала нас. И когда Лит стала жаться ко мне, испуганно косясь по сторонам, я принялся искать место для ночлега. По левую от меня руку простиралась болотистая низменность, в высокой траве

которой ночью так тревожно, по правую, у подножия холма — река. Можно было спуститься к реке, но как беззащитен человек, над которым возвышается берег. Уже было совсем темно, когда я отыскал удобное место для ночлега — одинокий дуб на гребне холма с разможенным обугленным стволом. Так случается, когда та, Имя Которой Произносить Нельзя, гневается и швыряет головни своего костра на землю. Уф!

От некогда величественного дерева уцелела лишь та его часть, что нависала над рекой. Эти несколько ветвей расходящиеся от ствола словно растопыренные пальцы, простирались над берегом реки на огромной высоте, и не было никакой возможности понять, почему дерево не падает. Чем-то этот дуб напомнил мне Вигару, и я понял что это хороший знак и более не раздумывал. Уговаривать Лит взбираться на дерево не пришлось — всякому известно как небезопасно человеку ночью на открытом месте. Еще немного, темнота наполнится голосами зверей и тогда только Воа, да костер, которого у нас не было, могут защитить человека.

Солнце погасло, но небо в той стороне еще тлело. Мы с Лит сидели на ветвях и вслушивались. Где-то твякнула гиена — это хорошо. Проснулся филин — тоже хорошо. Внизу, под нами, на берегу реки зашевелились тени, послышался шорох или всплеск. Всё это меня радовало. Я боялся тишины. С тишиной ходит человек. Что ждать от человека, не боящегося охотиться в ночи? И тут раздался звук. Я вцепился в ветку, на которой сидел, так он был ни на что не похож, этот звук, тянувшийся длинно... У меня на затылке приподнялись волосы, но я не смел пошевелиться чтоб коснуться их. Звук затих, и я услышал, как внутри меня кто-то возится и стучит. Если бы я сейчас думал, я бы услышал собственные мысли, так стало тихо. Лит поглядела на меня... И в следующее мгновение звук повторился — Лит! Это была Лит. Я что подумал вначале — я подумал что ей больно. Я подумал что в её племени все так стонут. Потом я подумал что она хочет есть. И это было бы правильно, потому что я тоже проголодался. Потом я посмотрел на её лицо и подумал... Я не знал, что думать, потому что этот звук ничего не значил. Это не был стон, это не был крик... Потом Лит увидела желудь. Стала пробовать дотянуться до него и едва не упала. Желудь невкусный, глупая Лит! Зачем тебе желудь?

И в это мгновение я услышал Его. По краю осязаемого мной мира, двигался кто-то. Принохиваясь к моему следу. Замирая. Вслушиваясь. Это со мной всегда одинаково —

будто в меня насыпали сырого песка. Мокрого речного песка. И он давит. Как тоска. Беспричинная тоска просыпается во мне раньше, чем я начинаю что-то слышать или видеть, и я понимаю её как грозящую непонятно откуда опасность. Тогда я прислушиваюсь и хочу обмануться... Лит по моему лицу всё поняла и жалобно заскулила. Я толкнул её — она затихла. И тут я сообразил — Он, тот, принюхивающийся, идет по её запаху. Как призывно пахнет кровь женщины!

«Ты, мог бы подумать об этом, прежде чем устраиваться на ночлег, — упрекнул я себя. — Чему тебя только учил Эли? Ты не бросил ложный след. Ты не прошел по своему следу и не разметал его. Ты не сделал заячью скидку на своем следе. Эх!»

Нужно было спешить — брякнул камень, неосторожно задетый преследователем. Я сорвал немного дубовых листьев и протянул Лит. Мне нужен был её запах, вот в чем дело. Быстрее, Лит! Я схватил испачканные её кровью листья и спустился с дерева. Сейчас бы очень пригодилась хорошая рогатина! Или, еще лучше палка с заостренным концом. Или дубина. Обоженная на костре узловатая дубина. Но отправляясь утром за бурундуком, разве мог я подумать что мне придется схватиться с чужаком?

Вначале я побежал вдоль гребня холма, так, как если бы мы с Лит миновали дерево. В одном месте я уронил дубовый лист. Затем, стараясь не оставлять следов на песке, я, по камням спустился к реке. Здесь я тоже оставил запах Лит. Прощел немного водой и, выбравшись на берег, на всякий случай вновь оставил запах Лит. Я спешил. Запах Лит нужно было разметать как можно шире. Чтоб им пропахло все вокруг. Чтоб Он натыкался на него везде. Чтоб запах не указывал более на наше пристанище. Взобравшись на гребень холма я, по его противоположной стороне, спустился к зарослям кустарника и бросился обратно, туда, откуда мы пришли. Если мне повезет, я успею стать на свой след далеко от дерева, на котором пряталась Лит, и попробую увести опасность подальше. На бегу, пучком дубовых листьев я изредка пачкал траву. А вот то место, которое нам с Лит пришлось долго огибать — заболоченный ручей. Он, этот ручей, так узок, что мужчина без труда дошвырнет камень до его противоположного берега, но непроходим. Я тогда, с Лит, было сунулся в него и сразу же утонул по колена, а потом еще долго бродил по берегу выискивая брод. Ему тоже придется обходить этот ручей со стороны луга... Я замер — на противоположном берегу я увидел Незнакомца. Вон то, неотличимое от других черное пятно в камышах и есть Он.

Значит, Он давно уже услышал меня. Услышал как я бегу по своему следу обратно, затаился и стал ждать. А ведь мне казалось, что я бежал бесшумно, как учил меня Эли. И тут, Он, сообразив что я не пойду далее по своему следу, вдруг молча бросился ко мне. Конечно, Он чувствовал воду впереди себя, но ведь Незнакомец не мог знать, что эта вода для него непреодолимое препятствие. И хотя я ждал этого броска, меня все равно пригнуло к земле — так обыденно Он ненавидел меня. Он меня хотел убить так просто, как ломают ветку дерева, нечаянно задевшую путника за лицо. Словно я был незначительной помехой у него на пути. Вот так он меня ненавидел. Мне стало больно от его желания сломать меня, как ветку дерева. Больно, будто мне внутрь насыпали углей костра... Незнакомец влетел в ручей и понял, почему я не убегаю. Он стоял на противоположном берегу как огромная, черная, поднявшаяся со дна ручья коряга и смотрел на меня. Незнакомец был выше меня на локоть, и в его фигуре чувствовалась мощь. Лица его я не видел, но знал, как шевелятся сейчас Его ноздри. Как в бессильной ярости сжимает Он кулаки. Раздался всплеск и Он исчез — помчался вдоль ручья по моему следу. Я бросился прочь. Теперь я бежал к реке. Надо было надежно утопить в ней листья с кровью Лит. Иначе Незнакомец тут же поймет где я их сорвал. Ну, один лист, тот, что я уронил, могла сорвать женщина, так мог подумать Он, а вот целый пучок дубовых листьев! А ведь наш дуб единственный, из растущих поблизости ...

Я сделал крюк по берегу, несколько раз пересек свой собственный след, сделал заячью скидку и вернулся к Лит. Теперь оставалось ждать. Он всё равно распутает мой след, другое дело, сколько ему на это понадобится времени! И есть ли смысл нам ждать утра на дереве? Быть может нам стоит прямо сейчас броситься бежать? Если бы я был один!

«А вдруг Лит сейчас окликнет его? Радостно?» — подумал я.

Я посмотрел на Лит. В темноте глаза её сверкали так ярко что мне захотелось попросить её зажмуриться, чтоб они, эти её глаза, не выдали нас нечаянно. Нет, Незнакомец не её соплеменник. Иначе у неё не перехватывало бы дыхание от ужаса. Его присутствие её пугает, и Он не нравится ей. Очень не нравится. И это хорошо. Значит в схватке, если случится, Лит не будет стоять в стороне ожидая победителя.

Его шаги раздалились неподалеку и мы стали деревом. Мы слились с шершавой его корой, мы стали его ветвями, продолжением ветвей, его листвой. Мы старались думать как

дерево, чувствовать как дерево... Вот Незнакомец совсем рядом. Лит все-таки зажмурилась, и... Он миновал дерево и отправился по следу, который я проложил для него. Скоро Незнакомец наткнется на дубовый лист, затем будет рыскать около него, пока не поймет что женщина спускалась к реке... Я взял Лит за руку. Та, Имя Которой Произносить Нельзя, накрой нас своей ладонью!

Второй раз мы его увидели, когда уже побледнело небо. Река дымилась. Незнакомец шел по её берегу. Он так неожиданно появился из-за поворота, что мы испугались. Но, Незнакомец очень устал искать нас, поэтому не почувствовал запаха нашего страха. Если сама твоя кожа, твои глаза, уши и даже голос и даже то маленькое, что стучит и бьется внутри тебя, излучает страх, то чем ты его перебьешь, этот запах страха? А ведь он так долго держится на безветрии...

Незнакомец остановился под нами, и я неожиданно почувствовал то, о чем я подумал позже. Я не успел отвести взгляда и смотрел как Он, стоял уставившись на реку. На плече у него лежала увесистая сучковатая дубина. Как я её не заметил, там у ручья? Или Он её поднял позже? И тут я потупился. Я слился с деревом...

Я правильно проложил след, но Незнакомец прошел его быстрее чем я думал. Сейчас Он от Реки отправится к ручью, и там поймет, как лежит след. Он увидит его сразу весь целиком, поймет, как я его прокладывал и догадается, где мы прячемся...

Я выждал еще некоторое время, чтоб быть уверенным, что Незнакомец уже на полпути от берега реки к ручью, и помог Лит спуститься с дерева. Можно было более не таиться, и Лит тихонько скулила, как ушибленная собака. Как ушибленная болотная собака. Мы спустились к реке. Я не знал, умеет ли Лит плавать, но не стал её спрашивать, все равно у меня не было времени на то, чтоб искать подходящую корягу. Подумал — буду держать её на воде пока не увижу на берегу что-нибудь подходящее...

Мы вошли в воду и поплыли по течению. И тут я вспомнил о том, что я почувствовал, когда Незнакомец стоял под нашим деревом и смотрел на реку. Почему-то я почувствовал тогда что Рыжебородый, желал бы меня убить, точно так же как этот, Он. Точно так же буднично, словно сворачивая шею утке. Не извинившись...

Оказалось, что Лит неплохо плавает. Держась середины Реки, мы миновали устье заболоченного ручья.

За ночь вода немного остыла, но холодно не было. Нас согревало желание побыстрее покинуть негостеприимный

берег... Никогда после я не встречал живым нашего преследователя.

Река уносила нас на себе, а я думал — кто был Он? Тем, от которого отвернулись соплеменники? Эли говорил, что когда человек остается один в нём появляется много пустого места. Раньше эти места в человеке занимали люди, потом человек ушел от людей и их место в нём освободилось. Но человеку плохо, когда его мало, вот он и наполняется всем что вокруг него — барсуками, облаками, рыбами, жабами, деревьями...

Наверное, я это думал вслух, потому что внутри у Лит что-то заурчало, ну точно как в середине кошки, когда ей за ухом чешешь. Вот так: ур-р, ур-р... Внутри у Лит что-то заурчало, она выбралась на берег, подняла с земли какую-то ветку и сказала мне:

— Лес, это люди, в которых много дерева. Деревья бы побежали вслед за нами, если бы хотели вновь стать людьми, но в них уже слишком много дерева.

Так сказала Лит, и стала смотреть на меня сквозь ветку. Глупая Лит, без ветки видно лучше. Потом я попробовал подумать, как будет выглядеть бегущий по берегу лес, и у меня заболела голова.

— Деревья-люди нас царапают, потому что мы их оставили когда-то в одиночестве... — сказала Лит. — В отместку будто, — добавила Лит, отбросила ветку, зачем-то убежала в сторону, сорвала с куста лист, несъедобный лист и стала рвать его на неравные части. А эти части листа соединять между собой.

— Запаха куропатки не бывает отдельно от куропатки. Отдельно не бывает ноги от человека. Отдельно не бывает меня от моей тени. Отдельно... — я сжал виски руками не в силах постичь произнесенное Лит.

— Бывает! — закричала Лит. — Тень бывает отдельно. Ну? — Лит бросила на ветер куски разорванного ею листа, затем вернулась, нашла в траве один из кусков порванного листа, подняла, посмотрела на него и опять выбросила. Чтобы понять женщину — нужно быть самим Вигару. И как бы мы без него постигали волю той, Имя Которой Произносить Нельзя? Но я не Вигару. Я сказал глупой Лит:

— Хорошо. Пусть еда будет отдельно от тебя. А ты радуйся, будто съела

Мясо, — я рассмеялся. — Не надо охотиться! Все равно кролик бежит отдельно от своих ног! Поставишь силок — поймаешь уши! От кролика! Длинные уши кролика, что пробежали мимо! Уф!

Глупая Лит зашипела и мы отправились в путь. Так мы и

шли — я впереди смеюсь, а Лит позади меня шипит от злости... А затем слышу — Лит не идет. Оглянулся — сидит на земле и смотрит на меня. И глаза у неё как у птенца в гнезде — круглые и скользкие. Ты зачем не идешь Лит, а смотришь на меня так?

— Река прошлась по кругу, — говорит тихо Лит. — И мы идем туда, где Он нас ищет! И ветер от нас — туда. И Он нас может уже слышит. Ну.

— Ты о ком, Лит?

— О том, что ночью приходил!

— Я не чувствую его запаха, я видеть его не вижу — его нет.

— Но где-то же Он есть! Там! — Лит махнула рукой в сторону.

— Когда я услышу его, Он будет. Когда я почувствую его, Он будет. Когда я увижу его, Он тоже будет. А сейчас, дерево вон стоит, оно есть. Камень вон лежит, он тоже есть. Трава есть. Ты, Лит, есть, а его нет.

— Но где-то же Он есть! — стояла на своем Лит.

— Ладно, — согласился я, лишь бы успокоить Лит. — Пойдем, Эли нас ждет.

— Ага! Значит Эли есть, а этого нет? Где он, Эли? Где он прячется? Ну?

Лит подбежала к дереву и заглянула за ствол. Лит подпрыгнула, осматриваясь. Лит приложила к уху руку. — Эли тут нет, а для тебя он всё равно есть. Вот, и тот тоже есть!

— Эли, это я, — объяснил я глупой Лит. — Поэтому он и есть.

Мы еще немного поспорили и, чтоб сделать Лит приятное, я сделал крюк, огибая кажущееся ей опасным, место. Я шел и думал, что вот действительно ведь, Эли я не вижу перед глазами, но всегда чувствую. Будто вижу глазами. Точно так же, как вижу каждого из моего племени, они всегда со мной. Почему? Только они теперь совсем мало занимают места во мне... А вот, этот который приходил ночью, его нет со мной. И как это понять? Я попробовал представить себе его, но у меня вдруг страшно заболела голова. Еще бы! Как это жутко видеть то, чего нет! Так ведь можно увидеть Оя! Или даже Воа! Как это страшно представить, то, что происходит не из запаха, не из тени, не из следа, а просто из чего-то такого, чего на самом деле нет перед моими глазами? Как жить в таком мире, где всё возникает и исчезает из ничего внутри тебя? И как в них разобраться, в этих ничего не обозначающих видениях, теснящихся в твоей голове?! Я сжал

виски руками! Прости меня та, Имя Которой Произносить Нельзя!

— У меня от тебя все время болит голова, — сказал я Лит.

А Лит принялась рвать из земли высохший стебель дикого щавеля. Зачем он тебе Лит? Пришлось возвращаться и рвать стебель... Лит поглядела на него и выбросила.

А потом мы пришли. Вот уж Эли обрадовался. Вот уж он тряс своей бородой. Я тоже обрадовался. Еще бы — костер не погас, у костра моя женщина, за спиной мое убежище... Костер, Эли, Лит и убежище — всё настоящее. Хотел бы я посмотреть кого сможет защитить убежище, построенное в голове? Кого сможет обогреть выдуманный костер? Обласкать придуманная женщина? Уф! Я так подумал и стал веселым — глупая Лит. Нельзя построить в голове того, чего нет на самом деле. Еще хорошо, когда ты видел это раньше. Вот как я Сына Салисы. Да, я его могу представить. Или пещеру Учита-ту. Но чем дальше от тебя то, что ты видел, тем труднее чувствовать его частью себя. А того, что ты не видишь нельзя представить. Если бы у меня было три руки, я бы чувствовал и третью руку. Но как думать, что она есть когда её нет? Тут я совсем запутался...

— Сын Салисы не вернулся с охоты, — сказал Эли, когда мы сидели вечером у костра. — Навсегда ушел.

Лит урчала над куском мяса. Лит не слушала...

— Учита-ту приходила и сказала, — добавил Эли.

— Хороший был охотник, — сказал я, чтоб та, Имя Которой Произносить

Нельзя не сомневалась, накрывая ладонью Сына Салисы.

— Хороший, — согласился Эли. — Ей понравится.

— Он принесет ей много еды...

Мы лежали с Лит внутри убежища. Эли дремал у входа, у костра. Уже ночь побледнела, а я всё думал. Может Лит заблудилась внутри себя? Бывают такие люди — они совсем как настоящие, но, та, Имя Которой Произносить Нельзя освободила их для себя и никому из обычных людей их не понять, разве что только Вигару... Но Лит не похожа на таких. Так я ворочался не в силах уснуть, пока Лит не уселась. Села и стала смотреть на меня. А я на неё. И так долго смотрела. А потом говорит шепотом;

— Смотри!

Лит вытянула руки. Сложила ладони. Я даже не понял как. Я ничего не успел понять, как по стене убежища поплыла рыбка. Тень от самой настоящей рыбки, на сером камне! На сером камне рыбка казалась седой! Точь в точь как та, что плескалась в бороде Эли! Костер освещал руки Лит, а по стене

пещеры плыла настоящая рыбка! Тень была рыбья, а самой рыбы... Я схватил Лит за руки! Быть может она поймала рыбу в реке, принесла её незаметно в убежище и теперь... Нет! Рыбы не было! Только горячие пальцы Лит. Но тень от рыбы была! Настоящая! Будто рыба стоит на перекате, и шевелит плавниками, а её тень извивается на каменистом дне. Я не мог ошибиться! Тень была, а рыбы не было!

– Седая рыбка, ты заблудилась?!

Весь тот мир, скрытый предутренними сумерками, тенями деревьев, расстоянием, весь тот мир недоступный глазу человека, мир загоризонтный, отделился от зримого человеком мира и стал быть для Мадо. Сырые от росы листья щавеля и ромашки на заречном лугу нельзя было осязать из пещеры, но они были! Эта мысль, потрясла Мадо. Если ромашка пахнет здесь так, то почему она должна за рекой пахнуть иначе? На лугу, усеянном белесыми лепешками тумана, быть может кричала птица коростель. Пусть не коростель, пусть это была другая птица, но почему бы ей там не кричать?

Неправдоподобно и страшно было Мадо увидеть вдруг, возникшее из ничего, из пустоты, из неуловимого, сродни шулерскому, движению его мысли, очертание фигуры вчерашнего Незнакомца.

– Уф! – попятился Мадо.

Он был как живой – Незнакомец. На его загривке шевелились волосы, слипшиеся от пота, а ноздри раздувались.

– Уф! – сжал кулаки Мадо.

А еще Незнакомец избегал встречаться с Мадо взглядом. И непонятная Мадо усмешка, кривила Незнакомцу рот. И поймав себя на этом, и избавляясь от усмешки, Незнакомец нервно облизнул губы. Теперь они лоснились...

– Уф! – ощерился Мадо...

Кто ты, Незнакомец, таящийся внутри Мадо? И как удалось тебе, уйти, оставив свою тень внутри него? И зачем ты, так непостижимо, вернулся к Мадо, той частью себя, которую нельзя убить, от которой нельзя убежать, избавиться?

Тень! Ты слышишь Мадо? Оставь его, пойдя к комунибудь другому!

Мадо почувствовал как из его души потянулось, изматывающее в необъяснимой тоске, слезливое желание вернуть целостность миру...

Ранее, достаточно было бы Мадо покинуть берег реки, и

образ враждебного Незнакомца отошел бы на второй план. Изгладился бы, поблек, выцвел бы за ненадобностью. Ранее, Незнакомец воспринимался Мадо, лишь как деталь конкретного пейзажа, конкретный фрагмент именно той конкретной ситуации, в которой он оказался вчера с Лит. Ранее, для Мадо не существовало абстрактной угрозы. Опасность всегда была зрима и осязаема и у неё всегда был осязаемый носитель или причина. Так же как и все остальное в мире Мадо...

Что ты наделала, Лит? Опасный Незнакомец, подобно тени от рыбы, что непостижимым образом, при помощи рук Лит, отделилась от самой рыбы, отделился в сознании Мадо от дуба, на котором они вчера прятались с Лит, и таким образом обрел свободу перемещения, и вытекающую из этого способность угрожать Мадо везде и всегда. Следовательно теперь о Незнакомце нужно было помнить все время. Ждать его. И надеяться что тот не придет...

— Мадо! — старый Эли склонился над Мадо...

Лит убежала к выходу из пещеры и смотрела оттуда испуганно. Край её рта хищно приподнялся, оголив ровный ряд острых зубов — так, предостерегая, пятясь, щерится пес.

Мадо жалобно покосился на Эли и будто защищаясь, потянул к лицу волчью шкуру. Вжался в неё лицом. Подавился ворсом...

— Мадо! — Эли тряхнул своего внука.

Раньше за каждым выступом скалы зияла пропасть — теперь вот твердь. Раньше невидимое, неосязаемое Мадо, трансформировалось, как казалось Мадо, по своему усмотрению, без его участия — теперь же оставалось незыблемым. Зато, раньше у одной тени был один смысл, теперь же несколько. Зато раньше Мадо не ждал, а теперь ждет. Ждет Незнакомца, а ну как тот отыщет дорогу к убежищу Мадо? Что это за длинное чувство такое — ждать? Еще нет повода для страха, а ты уже боишься что он будет. Это ожидание возможного страха, изматывает более самого страха, потому, что страх, как бы дело не повернулось, всё-таки конечен, а ожидание может тянуться всю жизнь. Еще нет радости, а ты уже опасаясь, что она так и не придет...

Что ты наделала глупая Лит?

«Он не придет. Далеко. Мы обошли берег реки стороной. Ветер дул нам в спину», — думал Мадо, с трудом подавляя желание схватить рогатину. Мадо успокаивал себя, чтоб угроза, которую в образе Незнакомца, столь ярко и убедительно источало сознание, не переполнила его.

«На лугу вода. Запах на воде не держится. Незнакомец не

очень хороший охотник...» — успокаивал себя Мадо, мирясь с неубедительностью собственных доводов, потому что ему хотелось верить в то, о чем он думал. Мадо не замечал, как впервые лгал себе.

Запнувшись за медвежью шкуру и больно ударившись коленом о выступающий из стены камень, Мадо выбрался из пещеры. Эли торопливо посторонился...

Сколько раз Мадо всматривался в ночь! Сколько раз его ноздри процеживали ночные запахи, а уши просеивали шорохи, но никогда еще ночь не была такой... Невидимые Мадо деревья и кусты наконец обрели необходимую четкость бытия, основанную не только на запахах или ощущениях...

Мадо шагнул в темноту. Его душа покачнулась, словно дождевая капля на зыбкой паутинке, и заплясала, раскачиваясь на невидимых ниточках. Лит жалобно-призывно всхлипнула и побежала догонять Мадо. Тогда из пещеры вышел старый Эли. Постоял у костра и вдруг согнулся в пояснице с такой легкостью, будто давно мечтал переломиться пополам и лишь ждал случая. Не разгибаясь, Эли огляделся. И выбрав место, позволил и ногам своим переломиться в коленях. Придвинувшись поближе к костру, Эли стал слушать ночь...

Стояла середина лета. Ночь не успевала остывать...

Мадо ломая ветви кустарника и натыкаясь в темноте на стволы деревьев, мчался к реке. Изредка он останавливался чтоб ощупать ствол ели, или растереть в пальцах листок орешника или понюхать лист папоротника — и всякий раз убедившись что это действительно ель, орешник, или папоротник, что будучи невидимыми, они тем не менее остаются тем же самым, чем они бывают днем, Мадо от изумления забывал дышать...

Мадо свесился с берега реки и задержав дыхание, опустил голову в воду. Он всегда делал так, когда у него болела голова, а сейчас она просто раскалывалась. Мадо пошевелил под водой щеками, приоткрыл рот — здесь, в затоке, вода пахла тиной и водорослями и этот привычный запах успокаивал. Мадо коснулся дна рукой, зачерпнул ила, и не вынимая лица из-под воды, смазал им лоб и виски...

Лит настороженно поглядывала на Мадо. Не решаясь побеспокоить Мадо, она разминала ступнями не успевший остыть песок. По её лицу было видно, как ей нравится вот так стоять и перебирать в песке пальцами ног. В лунном свете плавилась река. В кронах деревьев шевелился теплый ветер. Прогрохотал далекий и поэтому не страшный гром и

нестрашная молния, остреньким коготком царапнула горизонт.

Простодушная Лит не понимала: зачем Мадо побежал ночью к реке. Ей казалось, что очевидное для неё, столь же очевидно для всех. И когда Мадо не соглашался с нею, то это было с его стороны, по мнению Лит, необходимой в отношениях мужчины с женщиной, демонстрацией характера. Игрой, в которой выясняется, как далеко можно зайти в отстаивании собственной точки зрения. Но вот её мужчина теперь лежит на берегу, сунув под воду голову, как утка... Зачем?

Лит дотронулась большим пальцем ноги к спине Мадо...

Мадо словно ждал этого. С изменившимся, грязным от ила, лицом он вынырнул из воды. Вынырнул, и тут же принялся обводить пальцем тень Лит, бросаемую на песок, луной. Жалобно поскуливая, когда его палец отклонялся от заданного тенью контура, Мадо сметал ладонью неверную линию, чтоб проложить новую, ту, единственную правильную черту, которая намертво соединит, как ему казалось, глупую Лит со своей тенью. И едва это случится, всё тут же будет как прежде; Незнакомец, перестанет маячить у Мадо перед глазами, вернется к своему дубу и оставит Мадо в покое, невидимое исчезнет, а неосязаемое перестанет существовать...

Но Лит не могла стоять совершенно неподвижно. Когда она шевелилась, а её тень покидала уготованное для неё ложе, Мадо приходил в ярость. Ему даже хотелось, для того чтоб Лит не двигалась, убить её, прислонить к дереву, и спокойно обвести её тень. Быть может Мадо так и поступил бы, если бы в какой-то момент его не осенило — тень Лит уйдет со своей хозяйкой, а на песке останется лежать другая Лит. Еще одна Лит. Новая Лит. Вот какой Мадо! Даже Вигару не удавалось такое!

Когда работа была закончена, Мадо оттолкнул Лит в сторону. И не успокоился, пока не прогнал её к самой кромке леса. Затем бегом вернулся обратно... Некоторое время он растерянно бродил по берегу, ища лежащую на песке Лит. Но вот наконец он наткнулся на неё, усталился себе под ноги. Затем вернулся к ней, стоящей у леса, и словно убедившись в чем-то, взял Лит за руку и подвел к изображению на песке...

Мадо хотел объяснить ей, что Лит лежащая на песке страдает от того, что песок такой неровный. Что песок весь в ямках. Он, Мадо, его ровнял, но все равно та, лежащая на песке Лит, не нравится ему. Потому что у настоящей Лит кожа гладкая и скользкая. И упругая высокая грудь. А у

лежащей на песке — плоская. И шершавая. И вот в этом разница. А лицо? Та, лежащая на песке Лит, уродливая, потому что песок такой неровный, весь в буграх и ямках...

Мадо хотел объяснить Лит разницу между красивым и некрасивым, но не знал слов, которыми можно было бы объяснить эту впервые ставшую очевидной, вдруг, для него разницу.

Лит взяла руку Мадо и хотела было положить её себе на живот...

— Нет, — отвел Мадо руку Лит, и совершенно неожиданно его взгляд наткнулся на таящийся в нескольких шагах за её спиной, в тени деревьев, силуэт. От ужаса у Мадо перехватило дыхание — никогда еще он не видел так близко живого мертвеца! Да еще такого, словно тронутого тленом. Это кроны деревьев цедили лунный свет и фигура мертвеца, в его свете, распадалась на отдельные голубоватые пятна...

Мертвецы не должны были приближаться к стойбищу, об этом знали все в племени Мадо. Это была воля Вигару. А вот Рыжебородый почему-то стоит здесь! Почему?!

Лит оглянулась и бесшумно опустилась на корточки. Рыжебородый как будто ждал этого движения — он тут же пошевелился и не разгибаясь выдвинулся из тени. Мадо растерянно коснулся ушей, но по лицу Рыжебородого понял, что опоздал. Он, Мадо сам нарушил заповедь Вигару, он, Мадо, не закрыл уши руками, не отвернулся и мертвец воскрес. Всё это, и Рыжебородый, и то, что Мадо забыл заповедь Вигару, было так невероятно, что он еще какое-то время боролся с ощущением, будто зловещая фигура Рыжебородого, сродни Незнакомцу, очередной бестелесный образ, помимо воли Мадо, возникший в его сознании...

Рыжебородый двинулся было навстречу Мадо, но замер на полушаге, как вспугнутая кошка. Отвел в стороны руки, словно собирался обнять Мадо. Снова замер. Согнулся в полупоклоне и коснулся правой рукой земли. Вновь застыл...

Мадо огляделся в поисках оружия. Сейчас бы сгодилась любая палка, любой камень... Рыжебородый лишь поморщился презрительно — откуда здесь на песке возьмется палка? Вот если бы Мадо стоял ближе к реке — у линии прибой полно валежника. Да и то, пока сыщешь в этой, растянувшейся вдоль берега, куче мусора подходящую палку...

С тех пор как Рыжебородый умер, он сильно переменялся. Его лицо научилось жить частями. Как животное, у которого глаза спят, а уши прядут и вслушиваются... Вот и Рыжебородый — пока его глаза узились в снисходительном

прищуре, рот криво щерился... Но едва его губ коснулась презрительная улыбка, глаза тут же принялись трезво и расчетливо оценивать достоинства и недостатки позиции Мадо.

Рыжебородый окончательно выдвинулся из-за деревьев и отрезал Мадо путь к лесу. Теперь у Рыжебородого была прекрасная позиция — он стоял на твердой почве, а Мадо по щиколотки утопал в песке, луна из-за спины Рыжебородого светила в лицо Мадо, и к тому же ничто не стесняло движений Рыжебородого, а к ногам Мадо жалась Лит. Ко всему этому Рыжебородый вооружился увесистой дубиной. Всякий раз, сгибаясь в несуразном полупоклоне и касаясь рукой земли, он подтаскивал в траве дубину. Теперь Рыжебородый поднял её и прислонил к ноге. Он не торопился нападать, давая Мадо время оценить всю невозможность сопротивления.

— Идем, — произнес Рыжебородый и смерил Мадо презрительным взглядом.

Как и тогда, когда Рыжебородый отобрал у него Учитату, странное оцепенение овладело Мадо...

«Он хочет чтоб я был таким, каким он меня видит, — понял Мадо, — а не знает что можно видеть то чего нет!»

Но эта мысль оказалась слишком новой чтоб разрушить в сознании Мадо многолетнюю привычку быть таким каким его видят, чувствуют, другие.

— Идем, — Рыжебородый пренебрежительно опираясь на дубину как на палку и не отводя презрительного взгляда от лица Мадо, приблизился и ухватил в кулак волосы Лит. И рванул. Лит выпустила ноги Мадо и завизжала пронзительно. Рыжебородый хрюкнул, вот так он был сейчас доволен собой...

«Даже не извинился!» — удивился почему-то Мадо.

Это получилось не умышленно, то что Мадо поднял голову и уставился Рыжебородому за спину. Просто Мадо подумал, что как бы сейчас было здорово, если бы там, за спиной Рыжебородого, в тени деревьев, стоял Незнакомец. Всего то и нужно было от Незнакомца, чтобы Рыжебородый оглянулся, поглядел себе за спину и на долю секунды отвел от лица Мадо, этот сминаящий его, презрительный взгляд. А уж всё остальное Мадо сделает сам.

Рыжебородый прочел в глазах Мадо отблеск надежды. Опытный охотник Рыжебородый иногда видел этот блеск в глазах загнанной им дичи и всякий раз после этого случалось что-нибудь непредвиденное. Поэтому Рыжебородый не мог не оглянуться. И он оглянулся. Бросил короткий взгляд себе

за спину и в тот же миг Мадо, стремительно наклонился и метнул в глаза Рыжебородому пригоршню песка. Рыжебородый, не ожидавший такого вероломства от согласившегося стать жертвой Мадо, выронил дубину и отпустив волосы Лит, схватился за лицо и принялся протирать засыпанные глаза. Воспользовавшись заминкой, Лит швырнула дубину Рыжебородого Мадо, и поскорее отбежала в сторону... Мадо поднял дубину и стал ждать. Рыжебородый кое-как проморгался. Теперь он смотрел на Мадо без презрения, с ненавистью. И эта его ненависть, вторила эхом в душе Мадо, питая его собственную ненависть, от которой у Мадо сводило на спине мышцы...

Рыжебородый оскалился, выставив наружу желтоватые клыки, и бросился на Мадо.

Удар дубиной пришелся Рыжебородому по плечу. Падая, он, все-таки сумел не ушибленной рукой увлечь Мадо за собой и они сцепившись покатались по песку. Лит было бросилась прочь, но затем вернулась, и подняла с песка дубину. Оскаленная пасть Рыжебородого тянулась к горлу Мадо. Еще мгновение и желтые клыки Рыжебородого вырвут ему глотку. Лит кое-как подняла тяжелую дубину над головой и опустила её на всклоченный затылок Рыжебородого. И тут же бросив дубину отбежала в сторону. Рыжебородый удивленно хрюкнул. Воспользовавшись заминкой, Мадо успел перехватить руку, и сунул локоть в пасть Рыжебородому, а сам вцепился зубами в его здоровое плечо. И разрывая зубами мясо, чувствовал как слабеет хватка Рыжебородого, как разжимаются его пальцы...

Лит вернулась. Вновь схватила дубину. На этот раз удар оказался точнее — Рыжебородый обмяк и перестал двигаться. Стало тихо. Ослепшая от ужаса и слез Лит, попискивая бродила по берегу, и, запинаясь за песок, падала. Потом из-под поверженного Рыжебородого выбрался Мадо. Не в силах подняться, он на четвереньках отполз к воде и там его стошнило. Потом он долго полоскал в реке и пачкал илом себе лицо, но всё не мог отделаться от запаха крови, и его снова и снова тошнило... Затем очнулся Рыжебородый. Лит тут же перестала скулить и спряталась за Мадо. Мадо схватил дубину. Но Рыжебородый не думал продолжать схватку. Тяжело кряхтя, он поднялся и не смея встречаться с Мадо взглядом, попятился. Еще мгновение и его фигура бесшумно растаяла в прибрежных зарослях.

— Он не вернется... — произнес Мадо и опустил дубину. Почему-то он был в этом уверен...

Воа вскарабкался мне на плечи. Впился коготками в мой затылок и задышал тяжело над ухом. Тут бы мне и оглянуться, но я так долго не решался этого сделать, что не заметил как проснулся...

Лит стонала во сне — верно что-то чувствовала. Эли дремал у костра. А я не решался поднять глаза на стену где сегодня плавала заблудившаяся седая рыбка. Потому что я не хотел видеть того, чего нет. Я не хотел знать, что та часть во мне что ничья, всё же кем-то занята. И как это понять?! Тот же Незнакомец. Я устал думать о нем, устал ждать его, устал надеяться и обманывать себя, что Незнакомец не найдет дороги к моему убежищу.

Я не хотел думать о Лит оставшейся лежать на песке, в то время как другая Лит стонет во сне...

Я хотел думать так — того что я не осязаю, не вижу, не слышу, не чувствую, того нет. Того чего нет, нельзя бояться. Нельзя победить в схватке с Рыжебородым, призвав на помощь Незнакомца. А иначе... Закусай меня Воа!

Я шел по лесу, к стойбищу и тряс головой, будто на меня напали не собственные мысли, а слепни и мошки. Так я был смешон сейчас. А потом я взял голову руками, сдавил её и стал думать — у куропатки есть и запах и тень. Вот, допустим, я чувствую запах куропатки, запах её слезавшихся перьев и я знаю — это куропатка. Отделить запах куропатки от самой куропатки и понимать их отдельно нельзя. Невозможно охотиться только на запах куропатки. Так же и человек — никому в голову не придет оторвать от меня руку и понимать её отдельно от меня. Или вот я вижу на речном песке свою тень и понимаю — это я. Нельзя отнять от меня тень, унести её в другое место и оставить там. Тени нет без меня. Но и меня нет без моей тени...

Воа цеплялся за мой затылок острыми коготками, тербил волосы и направлял меня — тут бы мне и оглянуться, но я так долго не решался этого сделать, что и сам не заметил как пришел к стойбищу. А когда за деревьями стал виден свет большого костра Вигару, я понял что теперь Лит далеко. Вот Вигару не спит у костра. Его я чувствую. А Лит не чувствую. Та часть во мне, которая принадлежала Лит, опустела. А вместе с Лит растаяла и тень от её рыбки и фигура Незнакомца. Почему так?

Я стоял на опушке у стойбища. Наконец, я решился оглянуться — из темноты мне в спину пялились красные обиженные глазки Воа. Как два угля вынутые из костра. Как два угля, которые кто-то перебрасывает с ладони на ладонь,

чтобы не обжечься. Сейчас они, эти обиженные глазки Воа, из темноты ночного леса жгли мне спину. Или это что-то внутри меня? Жжет? Чему там жечься? Там все мокрое...

Об Эли я старался не думать. Мысли о нём были сродни маленьким камешкам под босой стопой, что заметны лишь тогда когда на них наступаешь.

Прежде чем отправиться в убежище к Учита-ту, я подошел к Вигару.

— Я без женщины пришел, — сказал я. — Так получилось. Вигару промолчал.

— Возьму Учита-ту...

— Это правильно... — согласился Вигару.

И я стал жить с Учита-ту. Она приняла меня так, словно ждала. Смотрела без презрения. Словно догадывалась что я уже однажды был не тем, каким меня видят... Глупая Лит досталась тихоне Чужому, Тому Которого Оставила Женщина. Потом я послал Учита-ту забрать из опустевшей пещеры Эли. Вот уж я обрадовался, увидав старика на пороге своего нового жилища. Конечно Эли тут же принялся радостно вздыхать и кряхтеть и трясти бородой. Будто среди камней нашего убежища, в неприметной расщелине, поселился сам Оя, вот сколько веселого шума было от Эли.

Учита-ту оказалась послушной и умелой женщиной. Я ходил на охоту. Эли жил...

Много раз та, Имя Которой Произносить Нельзя, гасила и зажигала солнце, прежде чем однажды я не пришел с охоты раньше времени. Дело не в том, что я вернулся рано, а в том, что не устал. Был бы уставшим, так бы себе и сказал — устал, вот от этого всё, от усталости.

Учита-ту как обычно возилась у костра. Она наклонилась, а я вдруг не пожелал её. Учита-ту нетерпеливо подпернула себе на спину шкуру. Раньше такого со мной не случалось, чтоб я не желал Учита-ту, когда она вот так забрасывала себе на спину шкуру. Вначале я удивился себе. Вот каким может быть человек, подумал я, он не желает женщины. А потом понял — наверное это оттого, что я увидел Учита-ту так, как уже успел забыть, что так можно видеть. Как не хотел видеть, вот как я сейчас увидел Учита-ту.

Пещера Учита-ту всегда славилась сквозняками, поэтому стоять долго с поднятой на спину шкурой холодно. Учита-ту, не дождавшись меня, оглянулась. И опустила шкуру. А я в смятении смотрел на Учита-ту. Кто, и каким неумелым дрожащим пальцем, и на каком ноздреватом песке обвел тебя, Учита-ту? И кто истоптал тебя босыми пятками, что ты вся в выемках? И зачем эти ноги у тебя неровно? Ты верно,

Учита-ту шевелилась, когда тебя обводили на песке пальцем? А то бы зачем у тебя так спина согнулась? И зачем такой нос широкий, будто на твоём лице отпечатался след утиной лапы...

Неужели желание отступило только потому, что у Учита-ту такие ноги и нос, подумал я. Но почему раньше этот её нос и согнутая спина ничего для меня не значили?

«Неужели какая-то неправильно изогнутая линия, сильнее тебя, Вигару?» — с содроганием подумал я и зажмурился и сжал зубы, словно надумал прокусить камень. Я ждал. Я не знал, как меня накажет Вигару, но то, что возмездие настигнет меня, я не сомневался.

В своём углу добродушно пыхтел спросонок Эли, но ещё громче звенело у меня в висках. От ужаса у меня свело колени и если бы я не сидел, я бы упал. То, что это муха жужжит я понял, когда она уселась мне на нос. Я смахнул её и открыл глаза — ничего страшного не случилось. Тоже удивительно! Учита-ту уставилась на меня, будто увидела кривляющегося Оя. И мне захотелось спросить...

— Рыжебородый умер?

— Так сказал Вигару, — ответила Учита-ту.

— Зачем он умер? Правда, что он брат твоей матери?

Поэтому?

— Так сказал Вигару. Поэтому он не мог владеть мной.

Поэтому ты тогда остался жив.

— Рыжебородый жив, — сказал я. — Я его видел. Он чуть не убил меня.

— Вигару сказал, что умер, — Учита-ту рассерженно фыркнула.

Я выбрался из пещеры. Стараясь не смотреть в сторону Вигару, я пошел к реке. Очередное солнце догорало...

В детстве мне было жалко догорающего солнца. В детстве я думал — почему, ну почему, та, Имя Которой Произносить Нельзя не расщедрится и не подбросит гаснущему солнцу хвороста?! Чтоб не приходила ночь, когда человека так мало, что он нечаянно может закончиться, растаять во мгле. И солнце еще не успевало погаснуть, как я уже прятался в пещере. Прятался туда, где горел костер. Я думал, что так обману ночь. Я так долго пялился в костер, что не замечал как уснул... А просыпался — новое солнце светило, будто вчерашнее не гасло. Некоторое время я так и думал.

Только ребенок может заставить солнце светить вечно.

Скрытный Чужой, Тот Которого Оставила Женщина, жил на самом краю стойбища. Узкий лаз в его пещеру

перегораживал поросший лишайником валун и при взгляде издалека, вход в пещеру сливался с такой же, укрытой лишайником, скалой. Я шел к Лит.

«Зачем?» — спросит Чужой.

«Посмотреть» — отвечу я ему.

«Посмотреть?! И всё?!» — не поверит мне Чужой. Но как объяснить ему, то, что я сам себе не мог объяснить?

Лит сидела на корточках у пещеры Чужого и была так мала рядом с камнем, перегораживающим вход, что вначале я её не заметил. Её костер едва тлел и Лит куталась в медвежью шкуру. Её голова лежала боком у неё на коленях и смотрела на меня равнодушно. Щека у неё была разбита. Это была не та Лит, тень которой я обводил пальцем на песке и я удивился.

— Олень ходил в урочище, — сказал я громко для Чужого, если он у себя в пещере. Такую причину я придумал. Пусть думает, что я пришел к нему рассказать про оленя.

— Олень... — съежилась Лит.

Мои мысли путались как степная трава, которую кружит и заплетает ветер. Лит приподняла с колен голову, прислушиваясь — в волосах у неё седая прядь. Седая прядь, как прилипший к виску Лит, вывернутый наизнанку ивовый лист. Серебристый. Я спрятал руку за спину. Мне захотелось смахнуть ивовый лист с головы Лит. Зачем ей знать об этом?

— А где Чужой? — спросил я.

— У Уссы... — испуганно огляделась Лит.

Бывает на лугу непонятное — откуда-то вначале лета вдруг просыплется неровной полосой, узким клином, ковыль и седеет. Почему ковыль седеет так неровно?

— Так ему лучше... — сказала Лит.

— Ветер к ночи поменяется, — сказал я.

Ветер меняется, и перекладывает седые метелки со стороны на сторону. И тогда ковыльная полоса серебрится как ручей. Который течет вспять. Вспять через луг. Я наклонился, поднял отлетевшую головню и сунул её в костер.

— Ты испачкал нос... — улыбнулась испуганно Лит.

— Эй, Мадо, — позвала меня Учита-ту.

Я не слышал, как она подошла...

— Олень ходил в урочище. След показать хотел Чужому... — сказал я ей.

— Эли умер, — сказала Учита-ту мне.

Если бы у старого Эли были крылья, он бы сам улетел к той, Имя Которой Произносить Нельзя. И конечно уже вечером грелся бы у её костра. Эли так любил греться у

костра. А ведь он нужен той, Имя Которой Произносить Нельзя, потому что Эли мудрый. Но у человека нет крыльев, а у сосны они есть. Много маленьких зеленых смолистых крыльев есть у сосны. Вот и рублю я сосну... Тут каждая сдвоенная хвоинка как крылья.

Если бы у людей моего племени была тысяча пальцев, они бы в скорби исцарапали себе лица, так, как того достоин старый Эли. Потому что Эли добрый. Но у людей моего племени нет тысячи пальцев, а у ежевики есть. Много маленьких острых коготков. Вот и рублю я ежевичный куст и раня руки, обдираю с него листья...

Если бы у людей моего племени было столько слез, чтоб они могли плакать вечно, не пришлось бы мне просить помощи у Реки. Но мало слез у людей, а у Реки их много. Люди забудут Эли, а Река будет плакать вечно. Поэтому я кладу на воду срубленные сосны. Я стягиваю их стволы жилами животных. Сверху прилаживаю ежевичный куст. А на него кладу старого Эли. Плыви, старик...

Я смотрю как, царапая воду ежевичными ветвями, уплывает по Реке старый Эли, на спине у плота и меня... Я уже успел отвыкнуть, чувствовать себя будто я маленький, а весь мой мир уместается перед моими глазами. Но вот сейчас вновь я так почувствовал себя. Я почувствовал, будто весь мой мир только этот берег реки с мужчинами в знак траура пачкающими себя илом. Только эти стенающие женщины, раздирающие себе в кровь лица. Только это стойбище вдали. И еще дымь костров над стойбищем. И еще дальше Гора, с вечным облаком над вершиной. И всё!

Горечь от потери большого и пугающего меня мира, в котором ничего не исчезает, пока я сам не исчезну навсегда, соединилась во мне с горечью от утраты Эли, и я расплакался...

Тогда я пошел на гору. Сел. Далеко видно с горы. Вот плот с Эли. И Река серебрится под солнцем, и путается в лугах, и тянется к горизонту, словно седой волос в бороде, прячущегося там, за горизонтом, другого, громадного Эли.

Быть может, все мы плывем в чьей-то бороде. И смеемся и живем, пока тот, прячущийся за горизонтом, не откроет свой беззубый рот. И скажи, какая тебе разница, чьи губы сомкнутся за тобой?

Прощай, Эли...

Вот уж я этого не переносу, когда женщина укоряет своего мужчину в неумении добыть пищу. Уф! Будто добыча обязана быть пищей. Но еще хуже, когда плачут голодные

дети. Голодные дети плачут особенно громко. И только старики молчат, будто голод лишает их голоса. Если охотники племени не добудут крупного зверя, старикам умирать первыми. Вот они и молчат. Будто умирать начинают с голоса. В умышленной немоте стариков нет отчаянья, но как смотреть им в глаза?

Восемь дней охотникам племени не удавалось добыть крупную добычу и старики замолчали. К стойбищу подступил голод. Женщины стали варить старые шкуры. Как им удастся соскребать с них что-то годящееся в пищу? И тут мне повезло. Я увидел свежий след оленя. Он шел через луг к урочищу.

Как я обрадовался! Если взять оленя, голод отступит. И кто прогнал от стойбища голод? Я! Мадо!

Еще никогда, ни перед кем я так не извинялся, как перед этим оленем. Я так извинялся, что совсем не удивился бы, если бы олень сам вышел из леса и добровольно умер бы у меня на глазах, растрогавшись...

Поэтому, когда я у пещеры Чужого рассказал про след оленя, получилось что я пригласил его разделить со мной славу от удачной охоты. Вот почему на следующее после похорон Эли утро я, вместе с Чужим ждал оленя на выходе из урочища. Тут, в скальной гряде огибавшей лес наподобие волчьей челюсти, зиял проход. Словно кто-то выбил зуб. Мужчины племени затемно отправились вглубь леса, чтобы олень, напуганный их возгласами, выбежал на нас...

Сегодня та, Имя Которой Произносить Нельзя, проснулась поздно и разожгла солнце, когда я уже успел соскучиться по нему. Солнце не успело разгореться и тлело. Зябнущие деревья утопали по колени в тумане. Белесая мгла липла к глазам, как паутина. Чужой жался ко мне, опасаясь потерять меня в тумане. Так мы и стояли рядом. У меня было тревожно на душе. А ну как добыча ускользнет?

— Вот, — тревожно оглянувшись, Чужой достал из складки в шкуре что-то маленькое и протянул мне.

Я взял... Я улыбался внутри. Не знаю, чувствовал ли это Чужой. Он чувствовал. Нельзя было не чувствовать, как я злюсь на него. Не зная причины, Чужой, терялся в догадках. Зачем тогда я пригласил его разделить добычу? Если злюсь? Вот и сует мне сладкий корешок... Так я думал. Может, боится что я отошлю его к противоположной скале. Откуда он не сможет меня видеть в тумане. Каково быть одному? Маленькому?

Я взял корешок и едва не обломал о него зубы. Корешок? Обыкновенная палка! Обломок ветки. Я посмотрел на

Чужого. Чужой пристально следивший за моим лицом, вздохнул с облегчением...

— Не так. Дай. — Чужой взял у меня свой обломок ветки и повернул его по особенному и перед моими глазами... От неожиданности я попятился. И только лишь присутствие Чужого остановило меня. Не мог же я при нем так пугаться. Чужой будет смеяться. Но Чужой не смеялся.

— Лит. — Сказал Чужой.

Я взял у Чужого то, что в его руках было оленем. Я развернул ветку так, как это делал Чужой — да, это был настоящий олень. Его образ, воплощенный деревом. Как мне было не узнать этой презрительно задранной морды? А рога? Они касались спины. А ноги? Они сложились вместе. Перед прыжком. Казалось, миг, и олень сорвется у меня с ладони... У меня волосы приподнялись на затылке так захотелось мне сжать ладонь... Уф!

— Глупая Лит, — пробормотал Чужой, — Обыкновенный корень. А она говорит — олень. Глупая Лит. — И Чужой потупился. Еще бы. Я вспомнил, каким я был, когда впервые увидел тень рыбки на стене пещеры. Как я не хотел верить.

В глубине урочища раздался возглас. Одинокий и пронзительный. Это сигнал. И не давая ему угаснуть, возглас подхватили охотники племени. Лес наполнился шумом. Я не успел опустить руку, в которой держал ветку-оленья, я только поднял голову, а передо мной, я даже зажмурился от неожиданности, стоял олень. Его ноздри... Как они раздувались! Раздувались, как пальцы ступни, что едва касаясь, трогают топь.

Немигающими рыбьими глазами олень свысока глядел на нас. Презрительно. Разве что не плюнул. Затем, собрав ноги, он вдруг взмыл. И растаял в тумане. Без всплеска. Как утенок, которого утащил под воду сом!

Я сжал кулак — ветка впилась мне в ладонь. Чужой метнул вслед оленю рогатину — поздно. Олень все это время был рядом! Как же я его не почувствовал?! Уф!

— Ай, Мадо... — пролепетал Чужой.

Лучше бы ты Чужой сейчас не смотрел на меня. Не смотрел на меня такими глазами. Серыми от ужаса.

— Ай, Мадо...

Если бы мне сейчас на загривок вскарабкался Воа, вонючий Воа, и впился своими грязными клыками мне в шею, я бы обрадовался. Легче когда тебя грызут снаружи!

Если бы на моем месте стоял мальчишка, сопливый мальчишка впервые взявший рогатину в руки и то бы он стыдился! Уф! Кому объяснить, кто поверит, что я упустил

оленя, который стоял от меня в двух шагах и как упустил — рассматривал какую-то ветку. Глупую деревяшку. Уф! Кто теперь прогонит голод от стойбища?!

Чужой выхватил у меня сломанную ветку и стал топтать её ногами. Он плясал на ней, он кружился неистово, он повизгивал. С его лица на землю падала слюна.

Подошедшие охотники сгрудились вокруг Чужого. Долго никто не решался окликнуть его. Мужчины решили, что Чужой заблудился в себе...

Не помню я случая, чтобы Вигару разговаривал сразу со всем племенем, а теперь случилось; мужчины, женщины, старики и даже дети собрались к костру Вигару и стоят. Молча. Шумит река на перекате. Жужжит и вьется шмель. Зачем? Если я разучился чувствовать? Вот же я никого из них сейчас не чувствую. Все одинаковые лица. От них ничего во мне. Когда же я успел умереть? Никто не закрывает ушей а я как умер... Почему так? Что во мне другого, что я теперь не чувствую?

Никто не звал людей к Вигару. Но они пришли. А быть может это только я не слышал как Вигару звал к себе? Раньше он говорил внутри меня а теперь вдруг оставил? Но нет, я услышал, как Вигару спросил:

— Кто привел Лит в племя?

Мой затылок отяжелел под его взглядом, и я едва не поперхнулся тем, что бьется и стучит внутри меня.

— Я, — сказал и стал так слаб, что меня можно было уронить взглядом, но никто не смел. Все стояли потупившись...

— Кто взял на охоту оленя-палку?

— Я, — сказал Чужой.

— Пусть Женщина-рыба решит... — прошептал вкрадчиво Вигару.

Короткими мелкими шагами, шаркая чуфами и постанывая, они двинулись все разом на нас. Все эти люди, которых я почему-то больше не чувствовал, двинулись как один человек. Не поднимая глаз. Так низко склонив головы, что я видел только затылки. И еще их руки — ладонями вперед. И так, сомкнувшись плечом к плечу, они нас теснили. Вначале к опушке леса. Туда, к тропе, на которую я еще не ступал. К тропе, на которую, без разрешения Вигару, нельзя было не то, что ступить, приблизиться. К тропе, ведущей к жилищу Женщины-рыбы. В конце которой бездонная каменная расщелина наполненная водой. Там она и живет... У Женщины-рыбы руки скользкие как водоросли

и тело чешуйчатое и зубы. Много острых зубов... Я знаю – мама рассказывала.

У страха серый цвет. Помню, как я в детстве бежал на реку. И ткнулся прохожей женщине в живот. Я не знал, что она возвращается с тропы ведущей к жилищу Женщины-рыбы. Тропа зарастала папоротником и каждой женщине племени, время от времени приходилось расчищать дорогу к нашему общему страху. Теперь, видимо, была её очередь. В ожидании трепки я съежился и не дождавшись, поднял глаза. И на всю жизнь запомнил её серое от ужаса лицо. С тех пор цвет у страха – серый.

Мы пятились. Не зря говорят – страх ходит пятками вперед. А потом я почувствовал что падаю. Это было первым, что я почувствовал, с тех пор как ступил на дорогу к жилищу Женщины-рыбы. Я падал долго. Так казалось. Так долго, что успел подумать, как я кричу. Тонко. Жалобно. Успел подумать, что слышать со стороны такой крик мне страшно. Так кричит зайчонок, настигнутый болотным псом. Словно ребенок. Это я еще успел подумать и поперхнулся. Ужасом. И с головой ушел под воду. Я поджал ноги. Прижал их к животу не смея вытянуть ведь оттуда, из бездны, шевеля лишними руками-водорослями, уже плывет к нам Женщина-рыба.

Рядом со мной свалился в воду Чужой.

Я поднял голову – в проеме серые лица, серые, подернутые паутиной, так мне казалось, лица. Потом люди ушли.

Изнутри жилище Женщины-рыбы напоминало пещеру. Узкую пещеру с покатым сводом. Говорят, будто Вигару сам обглодал и выстлал свод и стены пещеры камнями и человеческим рукам теперь не за что зацепиться – пальцы соскальзывают с гладких стен. Но я пробовал. Ломая ногти... Что сейчас я? Лесной орех, тонкая скорлупа и внутри все мокрое и больше ничего. И оно все дрожит там у меня. От ужаса? От холода? Но пока оно там дрожит я еще что-то...

Я не заметил, как исчез Чужой. Мгновение назад он плескался рядом, цепляясь пальцами за мои плечи, и вдруг исчез. Словно спрятался. Как будто он вернется, когда его перестанут ждать. Чужой всегда был скрытным.

Я огляделся. От поверхности воды до кромки камня лежащего у входа две моих руки. Не допрыгнуть. А вот вдоль одной из стен жилища Женщины-рыбы, над водой каменный выступ. До него можно дотянуться. Если распрямить ноги. Опустить их в бездну, чтоб оттолкнувшись от воды, выпрыгнуть. Выпрыгнуть и схватиться за эту

каменную полку. Но как распрямить ноги, если там внизу, в ледящей пустоте меня поджидает Женщина-рыба?! Едва я опущу ноги, она тут же вцепиться в них своими отвратительными крючковатыми зубами. И всё-таки я прыгнул. Не разгибая ног. И ухватился кончиками пальцев, ногтями, за кромку каменного выступа. Повис на нем, подтянулся и в тот же миг, камень провернулся и выскользнул из стены. Я полетел в воду. Я едва успел прикрыть голову руками. Отпрянуть. Камень ударил меня по плечу. И полетел в бездну. А я, почему-то вдруг вспомнил Рыжебородого. Как я его ударил дубиной по плечу. Тогда я не умер, потому что подумал о Незнакомце. О Незнакомце, как будто стоявшем за спиной Рыжебородого. Как будто. И если это ничто, если это ничто то, чего на самом деле нет, но то, что приходит ко мне из меня же и становится вдруг, непостижимым образом, тем, что есть, если это ничто спасло меня тогда, почему бы ему не спасти меня еще раз! Почему бы этой страшной Женщине-рыбе, почему бы ей сейчас не плыть, оттуда из глубины ко мне, и почему бы ей не принюхиваться алчно ко мне? Почему бы ей...

Женщина-рыба раскрыла свою жадную пасть! Главное не промахнуться. Выбрать момент и... Я отпрянул! Я бросился в сторону! И распрямил ноги! И оказался стоящим на спине Женщины-рыбы! Я так отчетливо чувствовал ступнями её ребристое чешуйчатое тело! Её перепончатый гребень-плавник. И я оттолкнулся от её спины. Я так оттолкнулся от её спины, будто босой ногой наступил на змею. С таким же ужасом и отвращением. Я выпрыгнул из воды. Я ухватился за кромку камня, лежащего у входа. Подтянулся и вывалился из западни. И побежал на четвереньках. Как пес. Как ушибленный пес. Подвывая. Продираясь сквозь кустарник. Пока не свалился. Пока не ткнулся лицом в замшелый валежник. И вот уж тогда, зачерпнув ноздрями и наполнив себя его сырым запахом, и набив рот лишайником и ощутив на языке его горький вкус, я обрел себя. Я обрел себя лежащим на замшелом валежнике. И надо мной, высоко ветви деревьев, как растопыренные пальцы. Пальцы ладоней, что защищают меня, не то от глаз той, Имя Которой Произносить Нельзя, не то от Вигару. Так казалось...

Уютно в этих ладонях. Если ты птица... Я подумал о том, о чем вспомнил потом, когда отдышался и решал куда мне идти.

Ветви деревьев переплелись и в них угодило солнце. Белая обжигающая точка. Или как паук. Ветер шевелит ветви — солнце-паук в середине паутины колыхнется. Ждет. Я едва

не угодил ему на завтрак.

Еще долго я был неподвижен. Я лежал, пока тень от ольховой ветки не переползла через ссадину на моем локте. И мне стало холодно. Я встал. Я не знал куда идти. И тут я вспомнил то, о чем я подумал, когда лежал и смотрел на ветви деревьев, что как ладони укрывают нас... Я взял палку, длинной в два своих роста и направился к колодцу. И не то чтобы внутри меня поселилось сомнение, но будто кто-то просил меня, настаивал это сделать. И так уныло... Я подчинился ему. Я лег у входа в жилище Женщины-рыбы. И, морщась от страха и смущаясь, опустил палку в воду. Погрузившись на высоту человеческого роста палка наткнулась на каменное дно колодца! В том, что это было дно, я не сомневался. Там на дне я нащупал тело Чужого. Чужого, Того Которого Оставила Женщина...

Зачем так?

Я отбросил палку. Я еще не решил до конца, но тот, который внутри меня, уже не сомневался. Я не знал верить ли ему? Или я это и есть он? Так я думал, направляясь к стойбищу...

Когда я вышел из леса, люди моего племени окаменели. Если бы их тела покрывал лишайник я бы не удивился, так они были неподвижны. Двигался только дым костров. Да еще река. Еще двигались облака.

Что стоять? Я пошел. Я знал, чего я хочу, и это знание пугало меня, но я шел. Я хотел увидеть его. Сначала я хотел просто посмотреть на него. И кто мне может запретить это сделать? Люди племени чувствовали мою решимость. Но чувствовали ли они мое знание как часть мира каждого из них? Не знаю. Вначале я хотел просто посмотреть на него.

Вигару сам шагнул мне навстречу. Неожиданно он выдвинулся мне навстречу из-за чьей-то спины. Я опешил. Смугился, когда увидел то, что теперь было у Вигару вместо лица. Вигару преградил мне путь. В руках у него камни. А ноги утопают в песке, так что не столкнешь. И не подступиться — острые сучья.

Я не решился назвать его по имени. Нужно было извиниться перед ним, но для этого нужно было назвать Вигару по имени, а я не смог. Тот, который был внутри меня не смог и я не стал противиться ему.

Никто не помнит, когда Вигару приплыл к нам. Было это давно. Представляю, как он макал в реку свои руки-обрубки. Представляю, как поразил его вид, сбежавшихся на берег соплеменников. Эти его крючковатые обрубки и осклизлые полусгнившие бока!

А сколько смысла можно найти в твоих, Вигару, тенях отбрасываемых одним единственным костром! Ты, воплощенный в своих тенях, непостижим. Не видел за всю свою жизнь ничего более странного, чем ты, Вигару, когда тебя освещает три костра одновременно. Как переплетаются красные тени! Как мерцает и отсвечивает внутри тебя желтый камень висящий на стене пещеры той, Имя Которой Произносить Нельзя! Так и кажется, что там, среди этих сучьев, у основания истлевшего ствола, что-то шевелится и живет. И почему бы ему не жить там? Ведь и внутри каждого из нас что-то живет, если стучится...

Ты обыкновенная коряга, Вигару. Мерзкая коряга. Когда-то ты был дубом. Ты стоял на берегу, а потом та, Имя Которой Произносить Нельзя, рассердилась. И ударила тебя. Сожгла. И то, что от тебя осталось, упало в реку и поплыло. А может всё еще проще. Ты рос на берегу реки, потом вода подмыла берег и ты рухнул. И еще долго тлел. А потом, истлевший комель смыло паводком. Ты плыл, пока не выбрался на наш берег и стал — Вигару...

Я приблизился к Вигару. Я коснулся круглого желтого камня. Их тут несколько висело, на истлевших кожаных лоскутах. Я взял ближайший к себе. В ветер камни Вигару раскачиваясь громко брякали друг о друга, вызывая трепет. Я извлек камень из кожаной петли и швырнул вниз по склону.

Я увидел Лит. Она бежала от дальних пещер...

Я продел руки между сучьями, будто мы схватились с Вигару. Так это должно было казаться со стороны. А потом я взялся за основание коряги. Из-под пальцев посыпалась труха. Я подумал, что Вигару решил рассыпаться в моих руках. Быть может Вигару решил меня перехитрить и умереть непобежденным. Я попытался оторвать корягу от песка, но она за долгие годы выросла...

— Не так! — запыхавшаяся Лит принялась выгребать из под Вигару песок. Со стороны берега.

Я ухватил комель за самые нижние сучья. Вигару крикнул... Пошатнулся. Нет, он упал не сразу. Вначале пошатнулся. И все же опрокинулся, не найдя опоры там, где Лит выбрала песок. И размахивая сучьями, будто хватаясь ими за собственную уродливую тень, покатился, побежал к реке. Разбрасывая уцелевшие камни из кожаных петель. Швыряясь ими. И плюхнулся в воду. Окотив, стоявших неподалеку. На мгновение уйдя с головой под воду, Вигару вынырнул. С тяжелым вздохом вынырнул, будто

отфыркиваясь. И покачиваясь, тяжело поплыл по течению. Поплыл, чтобы пристать к другому берегу. Вот такой у него был надменный вид...

И я пошел прочь. Лит увязалась со мной. Достигнув вершины холма, я оглянулся — дымы костров стойбища, тянулись к животу той, Имя Которой Произносить Нельзя. Еще дальше утопал в сизой дымке Улекой. За вершину Горы по прежнему цеплялось облако...

— Чи, тоже повредился... — сказала вдруг Лит. — У вас Вигару, у нас Чи.

Лес закончился. Я с Лит брел по гребню холма. Слева в низине тянулась река, справа болотистый луг.

— У него тоже всякие камни были.

Лит тяжело вздохнула.

— Я взяла один камень и Чи повредился. Может он на нем стоял? Все сказали, что я заблудилась внутри себя. Так бывает? Что это значит? И тогда мы пошли. Куда? Тебя, искали. Почему ты так долго не шел?

Тут я сразу понял, почему никто из чужих даже не оглянулся, когда я взял у них Лит. Они искали кому бы её отдать. А я её взял. Неужели я один прав, а все не правы, подумал я и услышал, что кто-то крадется за мной. Почему я так не подумал раньше?! Я бы раньше услышал его. Он ведь не из тех, кто выдает себя, нечаянно наступив на хрупкую ветку! Он крался беззвучно, но я чувствовал его так полно, так осязаемо, словно это внутри меня кто-то топтался и пыхтел...

— Может... — шепнул мне на ухо он.

Я замер. Он тоже остановился. Он стоял за моей спиной и дышал. Шевелились волосы на затылке от его дыхания. И почему я все еще жив? И тогда я подумал — разве это не Вигару свалился сейчас в реку? Да, так я и подумал — не Вигару?

— Не Вигару, — шепнул мне Вигару.

И я перестал слышать. Я схватил камень, но он опередил меня. Он ударил меня в висок. И я упал.

...Очередное солнце догорело. Наступила ночь. Безмянные пока еще звезды, эти угли мерцающие в костре той, Имя Которой Произносить Нельзя, усеяли небосвод. Изредка процарапает его метеор — искра выстрелившая из костра той, Имя Которой Произносить Нельзя.

Лит сидит на песке и слушает ночь. Много шорохов — это хорошо. Мадо поодаль лежит на песке. Съезжился.

А Лит устала. Слушать ночь так трудно. Кто и куда крадется в высокой траве? Бурундук. Что это за запах сырой?

Из омута... Чьё очертание? Ветвь... Не спи Лит, не спи! Или это не ветвь? Или это зверь? Затаившийся... Что за ноздри у него? Черные. И глаза? Узкие, к ушам.. А уши? К плоскому затылку... Не спи, Лит, не спи!

А Мадо не слышит. Лежит на песке Мадо. Держит в руках голову. Зачем так держать? Из нее не просыплешь.

— Эй, Мадо... — позвала Лит.

Но, Мадо не шевелится.

— Мадо... — Лит, привстав, заглянула Мадо в глаза. И погладила ему лоб. И тогда Вигару попятился от Мадо. Вигару еще вернется, конечно. Потом. И всякий раз будет возвращаться. Потом, когда иссякнет любовь. Если иссякнет любовь. Всякий раз. Но Мадо этого еще не знал. Он смотрел на Лит и улыбался.

Нина БУЙНОСОВА
СТАРАЯ ДОРОГА

* * *

И нам не стыдно и не больно...

С. Симонов

Уже привыкли. И не больно,
Чужое горе – не беда.
И выросла на воле вольной
Трава безлюдья – лебеда.

До обгоревших стен печальных,
До избяных, пустых глубин
Почти по плечи мне, качаясь,
Стоит, хоть просеку руби.

Так было: снова, снова, снова
Над чуть подлатанным жильём
То грянет хан бритоголовый,
То сами кровь родную льём.

То сабли отблеск нестерпимый –
Над вжатой в плечи головой,
А то прицельно, пулей в спину
По безымянному – конвой.

Горим в домах. В канавах стынем.
Знак переделов – беспредел...
И, обескровлен в битвах, ныне
Народ российский поредел.

Золой и прахом безвременья
Землицу кормит всласть беда.
Богато зреет, сеет семя
И матерееет лебеда.

СТАРАЯ ДОРОГА

Полевая, да пылевая,
Да полынная, да кривая,
Васильковая, да ржаная,
Да соломенная, сенная.

Заовражная, заливная,
Перепёлочно-заводная,
Да соловая, вороная,
Да от пота сквозь – соляная.

А июль на дворе. Печёт.
А избёнку сточил жучок,
Три бабёнки, да старичок,
Да конишко хромой – не в счёт.

За сараем – желта малина,
А в сарайчике – верстачок,
Впрок излажена домовина,
Опрокинута на бочок.

...Ни ограды кругом, ни колышка.
Здесь полынной душой из горлышка
Деревенечка истечет.

ПОЛОВИКИ

Деревьев контуры легко
На холст зари наносит осень,
И мать торопится у кросен
Наткать к зиме половиков.

Чуть-чуть поскрипывает снасть
И чутким снам мешает сниться,
И мы ворчим, смежив ресницы:
«Ты что так рано поднялась?»

Притихнет бережно она,
В окно далеким взглядом глянет,
Где полыханием гераней
Уже земля озарена.

И снова вспугнутый челнок,
Летает птицей остроклювой,
Рукам сновать вольно и любо
На спор с движеньем быстрых ног.

...Когда в окно плеснула мгла
И белым цветом свет затмила,
Нам зори мама расстелила –
Те, что без нас не доспала.

Александр КЕРДАН

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Предложение Владимира Николаевича Лошкарева посмотреть комбикормовый завод, который он год назад приобрел в Далматово, говоря по совести, я воспринял без энтузиазма: это означало — оторваться от романа о командоре Беринге, «перелететь» из милого сердцу восемнадцатого столетия в наш суматошный век... А что такое эти «перелеты — туда и обратно», всякий пишущий знает: трудно снова попасть в творческую волну, ухватить за хвост птицу, что зовется вдохновением...

И все же, согласился. Может быть, крестьянские корни в душе зашевелились или курганская земля позвала — с нею столько всего в моей жизни связано. И конечно, последним аргументом стало то, что ехать предстояло вместе с Сергеем Аксененко — моим давним другом, сослуживцем, «литературным персонажем» (рассказы «Праздничная ночь», «Березка», роман «Караул»), а ныне — заместителем генерального директора компании «Татънефть-Урал», возглавляемой Лошкаревым. Сразу вспомнилось, как в 2001 году на старенькой Серегинной «копейке» мы проехали полстраны, а потом втроем — с нами был еще и Владислав Крапивин — написали книгу «Трое в «копейке», не считая зайца Митьки...». Уже тогда намозолило глаза: сколько в России брошенных, некогда пахотных, а теперь — зарастающих молодым сосняком и бурьяном бесхозных земель...

РАЗРУХА В ГОЛОВАХ

«Не с болта сорвались журавли,/ Улетая от родины милой./ Хорошо, что пока крыльев нет у земли,/ Хорошо, что колхозник бескрылый...» — пел на переломе советской эпохи мой приятель, пограничный полковник и бард Миша Михайлов.

Увы, в начале 90-х многое «сорвалось с болта». И бывшие колхозники, чьи коллективные хозяйства распались, не выдержав конкуренции с «ножками Буша» и американской

соей, «приделали себе крылья» и улетели, кто — на заработки в большие города (многих из таких «гастарбайтеров» до сих пор в передаче «Жди меня» разыскивают, и найти не могут...), кто — при помощи жидкости для мойки стекол убыл в страну «вечной радости»... А земля колхозная, напротив, «обескрылила»: заросла сорняками, превратилась в разменную монету при расчете с потерявшимися в «рыночной экономике» стариками и старухами. Они, столько лет кормившие нас, вынесшие на своих плечах и голод, и войны, теперь доживают свой век в избушках, кажущихся еще более утлыми рядом (особенно это заметно в окрестностях мегаполисов) с коттеджными (верней сказать, дворцовыми) поселками новых нуворишей. Хозяева этих дворцов, представители всех четырех ветвей власти и кумиры из шоу-бизнеса и эрзац-культуры. Многие из них до сих пор считают, что булки на дереве растут, а своим непомерным богатством они обязаны не всему народу, бесстыдно обворованному во время чубайсовско-гайдаровской приватизации, а некой своей избранности...

Владимира Лошкарёва при первой встрече я чуть было не отнес к таким вот «новым русским». Мы случайно познакомились в начале девяностых годов прошлого века в сауне одного из военных городков близ Свердловска, совсем недавно ставшего Екатеринбургом. В бане, как говорится, все равны: и генерал, и рядовой! Да и где бы еще могли встретиться миллионер, торгующий нефтью, и немолодой военный журналист и литератор?

Внешне Лошкарёв на первый взгляд ничем не отличался от распространенного тогда образа — «хозяина жизни»: молодой, с литыми мускулами (как никак черный пояс по каратэ киокушинкай до...), массивная золотая цепь и такое же распятие на груди... Ни дать, ни взять — герой сериала «Бандитский Петербург», правда, без малинового пиджака (это я еще в предбаннике увидел) да и взгляд другой и манеры: такие приобретаются либо многолетним обучением в специальных вузах, типа Оксфорда, или в семье... Позже выяснилось, что за границей Владимир не учился, окончил наш уральский лесотехнический институт, а вот с семьей я не ошибся: мама учитель, отец — главный лесничий в Октябрьском районе Ханты-мансийского округа... Сразу же у нас нашлись и общие темы для разговора — служба в армии, где Лошкарёв сделал головокружительную для солдата карьеру — от рядового до старшины, история России и книги...

«Разруха не в подъездах, а в головах...» — процитировал

Лошкарев булгаковского профессора Преображенского. И добавил: «Из России я никуда не уеду. Это моя родина, здесь будут жить мои дети и внуки». Запали мне в душу его слова о том, что человек, умеющий зарабатывать деньги, должен научиться их вкладывать в своей стране.

Сегодня никого не удивишь словами о социальной ответственности бизнеса — их, разве что ленивый не повторяет, а тогда мне рассуждения нового знакомого об ответственности за людей, которые работают в его компании, за город, в котором он живет, за страну в целом, показались удивительными.

Но главное — они подтвердились в последствие. За пятнадцать лет, прошедших с тех пор, Лошкарев, действительно, никуда не уехал. Здесь, в России растут и учатся его дети. Здесь он сам защитил кандидатскую диссертацию по экономике и продолжает жить, развивая свое дело. При этом, ставка делается не на торговлю (купить подешевле, продать подороже), а на производство. В Артемовске Свердловской области Лошкарев приобрел разрушенный завод, восстановил его и теперь выпускает трубы для нефтедобытчиков. В Далматово он стал хозяином завода по производству комбикормов... При этом диаметрально изменил вектор развития предприятия, решив уйти от чистой переработки зерновых к замкнутому циклу — от выращивания зерна до его глубокой переработки и реализации готовой продукции. За год работы коллектив завода возрос в пять раз, средняя заработная плата достигла двенадцати тысяч рублей (она выше, чем зарплата на других предприятиях Далматовского района). В прошлом году начата обработка земель бывшего совхоза «Тамакулово», где уже восемь лет сельхоз работы не проводились, приобретена новая техника, проведен ремонт подъездных дорог и т.д.

— У земли должен быть рачительный хозяин, а не безответственный арендатор, — поделился своими мыслями Лошкарев. — Это же любому здравомыслящему человеку понятно: хозяин вкладывает в производство немалые деньги. Он заинтересован, чтобы оно работало эффективно и прибыльно, чтобы его сотрудники получали достойную зарплату. Хозяин знает, чтобы земля давала наивысшую отдачу необходимо обрабатывать ее от сорняков и болезней, распахивать, вносить удобрения, вкладываться финансово. Арендатор делать все это не заинтересован. Ему проще выжать все возможное из земли и бросить ее... А у нас... Ты лучше сам поезжай, все на месте и увидишь...

И я отправился в Далматово.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Это не только название народовольческой организации, но и вечный «манок» для русского человека. У древних римлян господствовал другой, как теперь сказали бы, слоган: «Хлеба и зрелищ!», а у нас всегда: сначала все же — воля!

«Я пришел дать вам волю!» — говорит Разин у Шукшина (Василий Макарович, 80-летие которого в этом году пышно отмечали на Алтае, на мой взгляд, всем своим творчеством говорил именно о воле и земле). «На свете счастья нет, а есть покой и воля!» — утверждал и великий Пушкин. Да и у меня, скромного наследника традиционного русского стиха, есть об этом строчки: «В России нет свободы — только воля./ Она одна дороже всех свобод...»

Да, сперва в России — воля. Без нее, без собственной воли, из-под палки, ничего путного не построишь. Свято верю: по-настоящему производителен только свободный труд и притом на своей земле!

Потому-то и была всегда матерью для русского человека именно земля. Не река, не тайга, не степь, хотя всего этого на Руси хватает.

Тут достаточно вспомнить мать-сыру землю в былинах и сказках, куда по пояс, а то и по грудь уходили поверженные богатыри, чтобы набраться сил и победить очередного змея, на очередном Калиновом мосту. А еще есть в устной народной традиции хлебопашец Микула-селянинович, особо почитаемый среди заступников земли русской. В землю кланялись, приветствуя почетных гостей, даже государи, обещая самую высокую награду, говорили: «Полцарства в придачу». А царство — это всегда земля.

Землю в вечное пользование обещал своим сторонникам и «государь ампирактор Петр III-й», он же — Емельян Иванович Пугачев (О нем замечательный, к сожалению, последний свой роман «Лобное место» написал и успел опубликовать в прошлом году оренбуржец Николай Корсунов). А взять знаменитую стольпинскую реформу. Какой взрыв созидательной активности она породила, вывела Россию на первое место в мире по производству зерна, льна и т.д. Именно эта реформа сорвала из украинского села Кобеляки моего прадеда, который вместе с четырьмя сыновьями (на каждое лицо мужеского пола полагался надел земли) отправился на Южный Урал, ставший потом моей малой родиной... Или тот же «Декрет о земле» — большевики знали, чем зацепить крестьянина, подвигнуть его на переворот!

Что же такого в ней, земле, сокрыто, чтобы и у меня — человека урбанизированного вдруг в стихах вырывалось: «Пахнет дождем, лопухом и навозом, / Там где к подъезду прильнули кусты...» или «Город да это же только деревня, просто забывшая имя свое...» Почему, такой болью отзывается в груди земельное запустение и деревенская разруха («Лодкой без весел родная деревня / В дымке тумана плывет в никуда...»)? И какая же радость, когда где-нибудь на Белгородчине или в Тюменской области встречаются ухоженные поля, желтеют стога, пускают за собой дымный шлейф трактора...

Тут сразу на ум приходит лермонтовское: «С отрадой, многим незнакомой / Я вижу полное гумно...»

Откуда у Михаила Юрьевича, поручика Тенгинского полка и потомственного барина, в отличие от своего дальнего родственника Льва Толстого ни разу не бравшего в руку литовку, это ощущение родства с землей русской? Здесь, правда, стоит оговориться. У людей военных есть собственное отношение к земле — близкое к упоминаемому уже былинному. По себе знаю. Сколько окопов в полный профиль перекопано во время учебы в Курганском военно-политическом училище. Даже в юношеском стихотворении написал: «Раз — лопата, два лопата... / Окопаться дан приказ!..», но финал-то все равно крестьянский: «...пахнет миром, пахнет хлебом, пахнет родиной земля!»

Нет, никуда от нас — крестьянских и не крестьянских внуков, если только мы — русские люди, не уйдет вовеки любовь к родной земле, политой потом и кровью наших предков...

Мы ехали в Далматово по той же дороге, по которой почти семь десятилетий назад проезжала в ссылку семья моего «раскулаченного» деда Ивана. (Об этом я писал в стихотворении «Валенки», в поэме «Сибирский тракт»). Этим трактом я не однажды проезжал в 1988 году, когда был заместителем командира «целинного» батальона (была такая дополнительная нагрузка для воинов советской армии — убирать урожай). Тогда и побывал на границе Курганской и Челябинской областей, где когда-то был хутор моих предков. Ничего не осталось от него — ни бревнышка, ни колышка. Ничего не осталось и от целого поколения коренных землепашцев: ни мой дед, ни пять его сыновей, никто из нас — его внуков не вернулся на землю: навсегда, видать, отбили охоту к профессии хлебороба представители комбедов! А сколько таких семей по всей России...

«Хозяйство Лошкарева» — так по-военному окрестил я

комбикормовый завод (ДККЗ) встретило лаем караульной собаки и безлюдьем на заводском дворе. Мы с Аксененко прошли к элеватору, где высились горы пшеницы, и только там увидели одного из рабочих, управляющих современным автопогрузчиком.

— Директор в поле. Все остальные на местах, — пояснил он, не отрываясь от работы.

— пояснил он, не отрываясь от работы. — Оно и понятно жатва — горячее время...

По рации Сергей Аксененко связался с диспетчером, сказал, что исполнительный директор Николай Боголюбов подъедет через полчаса, и пригласил меня пройти в заводоуправление:

— У людей на заводе глаза горят, так они по настоящему делу соскучились... — сказал Сергей.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

В здании заводоуправления мы заглянули к главному бухгалтеру. Ирина Ивановна Орлова, в одном лице оказалась и главбухом, и начальником отдела кадров, и делопроизводителем и кассиром. Так, с улыбкой представилась она и живо включилась в разговор.

— После окончания Курганского сельхоз института кем только я не работала: бригадиром и главным зоотехником зверосовхоза, главой сельской администрации, директором швейной фирмы. Пришла на завод еще при директоре Костенко Юрии Ивановиче. Была сначала кассиром, потом бухгалтером. Пережила самые трудные времена, порой оставалась на предприятии совсем одна, не считая охраны...

Орлова рассказала, что первое впечатление от завода у нее было не ахти — все ветхое: кабинета, оборудование. Казалось, вот-вот и рухнет прямо на глазах...

Завод, на самом деле, не молод: построен в середине 70-х. Тогда он работал в полную мощность с производительностью восемьдесят тонн за смену, обслуживал семнадцать колхозов и пять совхозов Далматовского района. В 90-х годах, не смотря на трудную ситуацию в сельском хозяйстве, завод продолжал производить комбикорма, перерабатывать масличные и крупяные культуры, занимался выращиванием зерна и торгово-закупочной деятельностью. Но потом предприятие вновь сменило форму собственности. По словам Орловой, пайщики стали делить паи и довели завод до разрухи. В таком состоянии его скупил предприниматель из Шадринска, владелец нескольких магазинов. Он приобрел

завод не для работы, не для его восстановления, а на перепродажу. Два года завод просто-напросто простаивал, не принял ни центнера зерна, пока его не купил Лошкарев.

— С приходом Владимира Николаевича все переменялось. Завод стал выполнять свои производственные задачи, отремонтировано заводоуправление, приобретена новая техника, сотрудники получают хорошую зарплату. Она примерно в два раза выше, чем средняя по району. Люди рады, что им предоставлена работа, трудятся так, что подгонять не надо. За место свое все держатся, хотя и с трудовой дисциплиной у нас строго. Принимая на работу, сразу предупреждаем: если пьешь, лучше не устраивайся...

Слушая Ирину Ивановну, я вспомнил свою встречу с Терентием Семеновичем Мальцевым — легендарным хлеборобом, народным академиком, дважды Героем социалистического труда. В начале 80-х годов мы оказались рядом за столом президиума областной комсомольской конференции. Мальцев был в валенках-катанках и френче сталинского покроя и поражал своей простотой, скромностью. Он тихо сидел за столом, прихлебывал чай, исподлобья поглядывал в зал. Запомнилось его выступление на конференции. Выступали розовощекие комсомольские ораторы, в соответствии с нормами, принятыми тогда, велеречиво славили партию, ее генерального секретаря Л.И.Брежнева. А Мальцев неожиданно заговорил о самом насущном: о бережном отношении к земле, к природе, о падении нравов на селе, о пьянстве среди молодежи...

Рассказ Орловой и мои воспоминания прервал директор завода Николай Александрович Боголюбов, вихрем ворвавшийся в кабинет. Он был в запыленном камуфляжном костюме и всем своим видом излучал молодую энергию и готовность к действию.

— Поговорим по дороге, — предложил он и повел нас по заводу, рассказывая о нем так, как говорят родители о любимом детище.

— Тяжело было раскатать это производство, — говорил он. — Оно стояло много лет, а перед этим много лет было убыточным. Предыдущие собственники плыли по течению, просто не работали на реальную прибыль, как и прежние руководители завода. Принцип у них, очевидно, был следующим: это не моё, получаю сегодня зарплату и ладно. Когда мы пришли сюда, начали буквально с нуля. Все вроде бы было на месте, но в таком состоянии, что приходилось разбирать все оборудование, вплоть до последнего болта, и заново собирать. До нас модернизаций никаких здесь не

проводилось. Бывший собственник и не скрывал, что купил завод для перепродажи. Хуже нет положения, когда в доме, на земле, на заводе нет хозяина, а приходит временщик. У него одна задача быстрее взять лакомый кусочек, положить в карман, затихариться, а потом дожидаться момента и выгодно его продать...

— А теперь, выходит, есть хозяин? — спросил я.

— Есть, — просто ответил Боголюбов. И я ему поверил.

Мы поднялись на верхний «этаж» заводского элеватора, вышли на крышу.

Дали зауральские с этой верхотуры видны на много километров: деревни, поля, перелески...

Разглядел я и знаменитый Далматовский монастырь, где в прошлом году мне довелось побывать вместе с Архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Владыкой Викентием. Монастырь до революции был местом паломничества, а сейчас восстанавливается после годов безвременья.

Чуть правее от реконструируемых куполов монастыря — Далматовский районный элеватор.

Боголюбов рассказал, что работал на нем десять лет. Был главным механиком, заместителем главного инженера и заместителем директора по производству. Вообще-то он — местный, далматовский. Предки до седьмого колена, — крестьяне. К своим тридцати пяти годам Боголюбов уже многое повидал и многое успел. После окончания ПТУ работал сварщиком и столяром, окончил Шадринский агропедагогический техникум и Челябинский агроинженерный университет.

Когда Лошкарев предложил ему перейти на комбикормовый завод, Боголюбов пришел сюда со своей командой, «переманив» многих из тех, с кем работал на элеваторе.

— Я брал с собой тех, кого знал, кто разбирается в производстве, кто будет работать. Конечно, сначала очень мешала молва, которая о заводе гуляла по Далматово. Я брал людей под свою ответственность: ты меня знаешь, я отвечаю за свои слова. Пока люди не получили первую зарплату, еще сомневались. Сегодня от сомнений не осталось и следа. Штат завода вырос в пять раз. Кадровой проблемы нет. Есть выбор, кого брать. А сначала проблемы были. Пьянство, например. Некоторые считали, что не грех выпить даже во время работы. Лечили таких просто. Сегодня ты выпил, завтра получай расчет. Особенно действовало на сознание, то, что мы проводили увольнение публично, и тут же

принимали на освободившееся место другого работника. Очередь за воротами стоит. Уволил я за год по такой причине всего двоих. Одного — тракториста. Он из села Тамакульского. Ему пятьдесят пять лет, всю жизнь ездил в родной деревне на тракторе и выпивал. Подумал, что и у нас так можно. Когда я его уволил, и принял другого, как отрезало... На селе, где найдешь работу, за которую получаешь в месяц десять — пятнадцать тысяч рублей? Техника у них новая, солярка есть. Что не работать?

На мой вопрос о лучших, так называемых передовиках, Боголюбов поначалу замаялся: мол, трудно назвать таких, большинство людей работает добросовестно. Потом, все же назвал несколько имен. Тракторист Сергей Важенин. Он работает у нас с первого дня. Или комбайнер Алексей Воронов. По совместительству он — и сварщик, и токарь. На работу ездит аж за пятьдесят километров. Колхоз, где он раньше трудился, распался, вот и приходится ему ездить так далеко. Он — человек ответственный, знающий. На КАМАЗе работает Алексей Широков, который знает свою машину от и до, работник ответственный и грамотный. Хорошо трудится и начальник охраны Анисимов Роман...

Мы спустились вниз. На заводском дворе несколько молодых рабочих занимались ремонтом стены цеха. Боголюбов пояснил, что у них сегодня делается ставка на молодежь. Сегодня треть всех работающих здесь, моложе тридцати — тридцати пяти лет. Молодой человек, по словам директора, лучше обучаем, и трудиться может с большей отдачей. В уборочную страду всем работать приходится по двенадцать-шестнадцать часов сутки. Так, на самом деле, могут работать только настоящие патриоты предприятия, люди влюбленные в свое дело.

— Здесь, как в городе, по звонку с работы никто не уходит. В сельхозпроизводстве есть такая особенность: если ты начал обрабатывать поле, то должен его закончить. Человек, по сути сам определяет продолжительность своего рабочего дня, решает: работать ему или отдыхать. Ориентируется он и на погодные условия, и на свой заработок, конечно. Я задал вектор: норма для комбайнера — тридцать рублей с гектара. Вам нужны деньги? Работайте. Убрал десять гектаров, получил триста рублей, а если сто — соответственно три тысячи! Сегодня не я рабочих подгоняю, а они ходят за мной, требуют запчасти, если что-то сломалось. Простой больно бьет по карману каждого...

Мне в глаза бросились разные по величине кучи зерна в глубине двора. Боголюбов пояснил:

— Это зерно наших заказчиков. Мы обрабатываем его и возвращаем владельцу, не смешивая с зерном другого производителя. Крестьянину важно получить именно свое зерно, которое он вырастил своими руками. Сегодня шесть хозяйств везут к нам свою продукцию на обработку и хранение. Мы ее сушим, проверяем на сорность, храним в отдельных кучах. Понятно?

Я кивнул. Почему-то вспомнился сразу шолоховский Кондратий Майданников с его коровой, которую он не хотел вести в колхозное стадо... А ведь ничего неестественного в этом желании человека: защитить свое родное, кровное — нет...

Разговор как-то сам собой перешел к волнующей меня теме земли.

Боголюбов поделился своими соображениями:

— С самого начала мы с Владимиром Николаевичем Лошкаревым решили, что будем покупать землю в собственность. И мы покупаем, но не пахотные угодья, а брошенные земли, где уже несколько лет никто не работает. В лучших случаях эти земли служили покосами. Еще скупаем паи у тех, кто давно выехал из села, у старушек и стариков, которые сами не будут землю обрабатывать. Работа с землей она ведь такая. Земля — не радиостанция. Ее в карман не положишь. Она всегда останется на месте, и либо на ней будут работать, либо она будет зарастать. Пока земля находилась в бесхозном состоянии, она не давала урожая, дохода, не приносила никаких денег в бюджеты сельсоветов. Мы оформляем землю в собственность, и мало того, что обрабатываем ее, поддерживаем в плодородном состоянии, но и добросовестно платим налоги в бюджет сельского совета, где вообще до нас никаких поступлений не было. Эти налоги идут тем же бабушкам и дедушкам. Так же мы заинтересованы в поддержании всей инфраструктуры села: ровняем дороги, чиним мосты, хотя бы для того, чтобы нашей технике было удобней ездить, чтобы уменьшить зернопотери при транспортировке. Нынче мы засеяли семьсот гектаров, на будущий год планируем засеять две с половиной тысячи. Через три-четыре года доведем наши угодья до десяти тысяч га. Число работников увеличим до ста человек. Это и есть социальная ответственность нашего бизнеса. Да, что я вас, как соловья, баснями кормлю, поедемте, посмотрим...

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ...

В старенькой «шестерке» Боголюбова, мчавшей нас к полевому стану, мы продолжали говорить о наболевшем.

По мысли директора завода, в центре государственной политики должна быть деревня. Надо освободить сельского жителя от всех налогов, дать ему заработать. Что делает крестьянин, когда получит первый доход? Отремонтирует дом, чтобы не стыдно было перед родней и соседями. Со второй прибыли купить сельхозтехнику, увидев, что его труд приносит прибыли. На третий год возьмет машину отечественной марки — профинансирует наш автопром, потом обставит дом мебелью и т.д. В любом случае, по мнению Боголюбова, деньги останутся в стране, они будут вложены в отечественное производство, а не перевезены в какой-то заграничный банк.

— Крестьянин по своей природе патриот! Он впитал любовь к родной земле с молоком матери! А государственные мужи, словно не знают этого. По сути, на переломе государство бросило сельское хозяйство на разграбление, — говорил Боголюбов. — Внешние управляющие вместо того, чтобы помочь пошатнувшемуся хозяйству встать на ноги, добивают его в течение нескольких месяцев. Раздергивают все, что можно вывезти. Оставляют одни остовы. Вокруг целые деревни умирают. А если родная деревня умерла, если колхозник оставил родную землю, он ни за какие коврижки туда не вернется!

Его додержал и Сергей Аксененко, который покомандирски четко и немногословно сформулировал, что надо сделать:

— Сегодня от государства нужна ясная сельскохозяйственная политика и чтобы позиции не менялись, как флюгер под порывами ветра... Первое, что, на мой взгляд, необходимо сделать на государственном уровне — освободить всех начинающих сельхозпроизводителей от налогов на пять лет, датировать цены на удобрения и семенной фонд, на нормальных условиях давать технику в лизинг, гарантировать достойные закупочные цены на полученную сельхоз продукцию...

А за окном в это время мелькали руины бывшей фермы бывшего совхоза и первые дома села Тамакульское — печальная иллюстрация моих строк о русской деревне: «Целою улицей брошены избы./Окна крест-накрест забиты у них./Ветер разносит окрест укоризны - /Долгие скрипы калиток больных...»

Пока проезжали село, внешне далекое от тех почти «потемкинских деревень», расположенных у асфальтовых дорог (именно их и привыкли посещать большие чиновники), Боголюбов успел рассказать, как они закупали они новую технику. Техника вообще гордость директора. Еще бы за год на заводе появилось два новых трактора Т-150 со шлейфом орудий: сеялки «Омичка», дискаторы, два новых комбайна «Акрос» и «Вектор», еще один трактор МТЗ, протравитель семян, воздушный сепаратор...

Вот с комбайнами и случилась проблема. Приехал Лошкарев покупать их на «Россельмаш» (принципиально и из патриотических, опять же соображений, закупается только техника отечественного производства), заплатил деньги. А тут случился кризис и завод взвинтил цены на двадцать процентов. При этом была получена дотация у государства, но потратили ее заводчане не на доделку уже заказанной техники, а на выплату зарплаты...

Конечно, в приобретении техники могла бы помочь Курганская областная власть. Тем более что руководство области знает о заводе и переменах, происходящих здесь. Владимир Николаевич Лошкарев встречался с губернатором Курганской области Олегом Алексеевичем Богомоловым. Губернатор одобрил деятельность нового собственника и обещал всяческую поддержку. Но сама область — дотационная. Скажем, в соседней Свердловской области фермер уже через две недели после покупки сельхозтехники получает пятьдесят процентов дотации на свой счет, да еще две трети процентной ставки выплачивается банку, где он брал кредит. У курганцев не только такого нет, но и банковские кредиты даются под тридцать процентов, да еще дилеры накручивают свои проценты. Словом, техника дорожает почти вполонину, и отработать такие деньги практически невозможно...

Каков же выход? Мои собеседники считают, что он в создании полного цикла: от возвращивания зерна до конечной продукции — выпечки хлебобулочных изделий. В плане постройка пекарни и мельницы. Уже сегодня взято в аренду шесть озер, где начато разведение промысловых сортов рыбы, для обработки которой планируется постройка рыбоперерабатывающего цеха. По меткому выражению Боголюбова, эти производства — своеобразная подушка безопасности для сельскохозяйственного предприятия, работающего в зоне рискованного земледелия. Ведь возврат вложенных денег в сельском хозяйстве происходит один раз в год (при условии хорошей погоды), а в виде конечного

продукта – один раз в три дня. Так, что в неурожайные годы, предприятие вполне сможет продержаться на вспомогательных производствах...

И еще из нашего разговора вынес для себя одно важное замечание: основа сельского хозяйства – грамотный специалист с широким спектром знаний и жизненным опытом (таким, как у самого Николая Александровича Боголюбова или у его заместителя по производству Владимира Алексеевича Орлова). Этот специалист должен понимать и уметь организовать весь упомянутый выше сельскохозяйственный цикл, быть настоящим энтузиастом своего дела, хозяином на родной земле.

Есть у работающих на селе такой термин «стоптать»: то есть убирать хлеб, не взирая на потери, лишь бы пшеница в поле не стояла и нагоняй агроному от высшего руководства не получить. В бытность моей службы в Кустанае, во время двух командировок на «целину» я видел много «стоптанного» хлеба. Видел и валки под снегом, и оставленные пшеничные поля...

Секрет прибыли в сельском хозяйстве скрыт как раз в том, что один «топчет» поле, а другой убирает урожай, относится к земле с пониманием. Разница (зерно оставленное на полях или доставленное на элеватор) и складывается в прибыль или в убыток, определяет плохого или хорошего хозяйственника. У плохого хозяина вся прибыль остается в поле, его хозяйство умирает. У хорошего – предприятие развивается, и урожайность у него не пятнадцать, а двадцать пять центнеров с гектара, хотя, вроде бы такая же техника по полю ходит, и сами поля в одной зоне расположены...

Польза же российскому государству проистекает именно от таких работников, от настоящих хозяев. Логика здесь простая: если хозяйство стало приносить прибыль, оно платит налоги, содержит в достатке своих работников, дает возможность работать и заработать другим специалистам. Скажем, комбикормовый завод взялся за ремонт подъездных путей или восстановление оборудования. Значит, есть нагрузка и для местных производителей асфальта и для поставщиков запчастей. Есть у завода прибыль, активно развивается и благотворительность. Только в этом году пятьсот ветеранов Далматовского района получили от заводчан подарки к Дню Победы, оказана помощь районному военно-патриотическому поисковому отряду «Витязь», который побывал на Псковщине, участвовал в поиске воинов, погибших на Великой Отечественной войне, привез оттуда благодарственное письмо. Это ли не

социальная ответственность бизнеса, о которой столько говорится сегодня?

И теперь, глядя, на моих собеседников, я радовался, что есть еще такие люди на земле. Люди, преданные своему делу, любящие свою страну, желающие, чтобы жизнь здесь стала лучше...

К радости моей, впрочем примешивался и горький осадок: остается таких не так уж много. К сожалению, нынче не в чести та самая широта профессиональных познаний, о которой они ведут речь. «Пена» реформ вынесла наверх тех, кого Александр Солженицын и Валентин Распутин называли «образованцами». Высокие и не очень высокие начальственные должности теперь занимают те, кто и слухом не слыхивал об отрасли, которой поставлен руководить.

Стоило ли отказываться от проверенной временем советской кадровой системы (где, конечно же, были свои изъяны, но все же секретарем райкома партии, отвечающим за сельское хозяйство, не назначался директор швейной фабрики, а армией не руководили люди, не послужившие хотя бы солдатом), где человек во власть продвигался постепенно? Спасет ли наше Отечество, вновь оказавшееся на историческом перепутье, так называемый «президентский резерв»? Позволит ли он сформировать новую управленческую элиту, отвечающую профессиональным и нравственно-этическим требованиям? Ну, да Бог с ней с элитой. На одного с сошкой, в России всегда приходилось семеро с ложкой! Только, кто завтра сядет за штурвалы тракторов и комбайнов, если почти все ПТУ, обучающие этим профессиям, приказали долго жить? К сожалению, вопросов больше, чем ответов.

«ЗА» — ДВУМЯ РУКАМИ

Мы побывали на полевом стане, поговорили с людьми, посмотрели технику и были приглашены пообедать в автобус КАВЗ, который на время уборочной оборудован под столовую и комнату отдыха для комбайнеров и тракториста. Здесь же на стане простились с Боголюбовым, которого ждали дела, и отправились в обратный путь.

Громоздились на горизонте многослойные облака, то светло серые, то свинцо-темные, то ослепительной белизны. Не зря торопятся в хозяйстве Лошкарева поскорей убрать хлеб — вот-вот накатят дожди. Но пока — хорошо: тепло и сухо.

Мелькали за окном авто сквозные березняки, уже

позолоченные дыханьем осени.

– Давай, остановимся, побродим по лесу, – предложил Сергей.

Свернули с трассы на проселок. Вошли в лес. На нас пахнуло прелым листом и грибами. Мы побрели вглубь, разрывая паутинки, вороша листья и сухую траву – а вдруг и впрямь отыщем какой-нибудь груздь...

Дышалось полной грудью. Воистину, прав Пушкин: прекрасная пора, очей очарованье. Но сказка тут же была нарушена. Мы наткнулись на кучу мусора, чуть подалее виднелась еще одна свалка, и еще, и еще... Пластиковые бутылки, стекло, тряпки, автомобильные шины, – одно из мест отдыха водителей, проезжающих по Сибирскому тракту...

Очарованья, как не бывало. Снова закопошились в душе «вечные» вопросы: почему мы так не любим свою землю? Ведь любой из тех, кто останавливался и мусорил здесь, такой же россиянин, как мы... Может быть, потому, что все это досталось нам бесплатно, как дар Господа, как наследие наших предков? Не зря же говорится: что легко достается, не ценится!

Снова вспомнились слова моего недавнего собеседника о хозяевах и «временщиках». Подумалось, что по самому большому счету, все мы на этой земле – «временщики». Да, жизнь человека имеет начало и конец, если не думать о вечном предназначении души человеческой, если забыть о Том, чье имя славят колокола Далматовского монастыря, издавна известного своими подвижниками и молитвенниками. Они учат нас не быть «временщиками», строить свою земную жизнь по образу и подобию Его, исповедают хозяйское отношение к окружающему миру, как творенью Божьему.

Именно так относились к природе и к миру люди в прошлые столетия. Скажем, те же герои моего исторического романа, ждущего моего возвращения. Это отношение и помогло им сделать нашу страну великой Державой, совершить бессмертные открытия. Таким бережным отношением к земле славились и наши более близкие предки – русские крестьяне, кормившие хлебом всю Европу...

Да, Земля, оставшаяся без хозяина погибнет, погибнет и вся жизнь на ней. Особенно это очевидно теперь – в эпоху открытого противостояния добра и зла. Земле нужен хозяин! Под этим утверждением я готов подписаться двумя руками.

Константин КОМАРОВ

**«САМОСТОЯНЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЗАЛОГ
ВЕЛИЧИЯ ЕГО»**О трагизме и комизме самоопределения
личности в прозе Арсена Титова

Как-то Ольга Славникова сказала, что проза Арсена Титова по уровню стиливого мастерства ничуть не ниже произведений обласканного (и во многом заслуженно) ныне славой Виктора Пелевина. Для того, чтобы выйти на всероссийскую литературную орбиту, которой он целиком и полностью достоин, Титову не хватило какой-то малости, последнего шажка. Вышедший недавно двухтомник избранной прозы Арсена Титова очередной раз убеждает, что слова одной из самых популярных в стране писательниц, лауреата Букеровской премии не были простой данью земляку и соратнику, дежурным «красным словом», но объективно отразили высокий уровень титовской прозы.

Двухтомник составляют новеллы, повести и роман. Сначала о Титове — новеллист. Живой язык его новелл можно сравнить с лихим арабским скакуном, которого нужно крепко держать за узду, чтобы он не сорвался в бешеный скач. Поражает именно эта постоянная устремленность слова Титова, бурлящая в нем потенция движения. Управляется со своим норовистым языком писатель мастерски, сдерживая его частыми повторами-рефренами или особого рода «топтанием» — доскональным объяснением, казалось бы, совершенно понятных деталей. И вот, что удивительно, эти приемы, которые, по идее, могли бы запросто перегрузить повествование, затруднить его восприятие, вызвать читательское раздражение, наоборот, увлекают и очаровывают какой-то особой, глубинной музыкой текущего, пластичного, слова. Так новеллы Титова обретают все качества которых требует этот жанр — лаконизм, емкость, отточенность.

Новеллы сборника «Наконечник» центрирует фигура мудрого автора-повествователя, который с мягкой сочувственной иронией, а порой со щемящей грустью смотрит с высоты своего знания (вспомним бахтинскую концепцию о всеведающем авторе, находящемся всегда на границе создаваемого им мира) на своих «негероичных героев». Это люди, неустроенные в личной жизни, неприкаянные, выбившиеся из заведенного распорядка жизни. Их вина лишь в том, что они слишком склоны к рефлексии, «самокопанию» и особенно чутко ощущают несоответствие высокому кодексу любви, который предстает им не в виде безжизненных постулатов, но как конкретная жизненная практика со всеми ее нервами и срывами. В них «живет кто-то, кто им жить мешает» и этот «кто-то» - совесть, чуткость, честность. В основе этих новелл – даже не любовь, а именно переживание любви, переживание напряженное, требующее концентрации всех внутренних усилий. Эта коллизия априори несет в себе драматизм, ведь «все влюбленные по отношению к кому-нибудь являются обыкновенно подлыми людьми». Однако, будучи тонким психологом, Титов избегает однозначно трагического пафоса. Ведущая тональность новелл – комическая, но это юмор, осложненный и обогащенный лиризмом и драматизмом, это смех сквозь слезы, «улыбка, которая не может скрыть боль».

Магистральную коллизию этих новелл можно определить словами героя новеллы «Древности»: «В конечном счете, все очень банально. В принципе даже скучно, если бы не боль». Но именно способность ощущать боль делает героев Титова «подлинными» людьми. Быт и бытие у Титова связаны теснейшим образом. Из самой гущи повседневности приходят к героям трагические прозрения жестокой силы обстоятельств и собственной беспомощности перед ними, заставляя героев неподготовленными: «от двух мало что значащих или вообще ничего не значащих слов» («Давнее слово упскрули») или от наблюдения битвы курицы с коршуном («Древности»). И как бы не смягчал искрометный авторский юмор и ирония этого столкновения «лоб в лоб» со своей трагедией, временами авторская усмешка исчезает совсем и остается нота чистого пронзительного страдания: в безысходном отчаянии падает на «безнадежную твердость земли» Кузнецов («Наконечник»), без вести исчезает и, скорее всего, кончает с собой Саша («Древнее слово упскрули»). Но соразмерно ли наказание вине? Почему хорошие, в сущности, люди остаются несчастными? Да потому, что

любовь и боль этих людей неподдельны, а значит бескомпромиссны. Они неуклюжи и маргинальны в жизни, потому что не способны подстроиться под ее унифицирующие требования, «культы», не пользуются возможностью «плыть по течению», а доискиваются правды о себе. И в этом свете этического максимализма эти обычные люди с обычными людскими слабостями оказываются и героями, и бунтарями, и вызывают горячую симпатию автора (плохо скрытую под добродушной усмешкой) и читателя.

Вообще, преодоление шаблонов, прописных истин, пустых софизмов, их проверка жизненной конкретикой составляет особый внутренний сюжет новелл Титова. Так в новелле «Филологический экзерсис» в истории Митрохина происходит индивидуальное преломление двух, казалось бы, одинаково пустых и затертых софизмов и один из них оказывается ложным, а другой – подтверждается. Любые максимы, не прошедшие горнило жизни мертворожденны, только в индивидуальной человеческой судьбе они обретают свою неповторимую значимость. Преодоление клишированности дает о себе знать и в поэтике новелл: то вдруг оживляется стертая метафора («нагаженное в душу кошками сглотнул»), то в одном ряду оказываются возвышенно-книжные штампы и нарочито-сниженные бытовизмы («груди трепетные, ноги жаркие»), рождая комическое несоответствие, то появляется достойная Зощенко имитация косноязычия. Богатство и разнообразие стилевых приемов Титова придает его языку сочность, а взгляду на мир – первозданную свежесть.

Итак, из почвы конкретной жизни прорастает нравственно-этический кодекс личности. Но и сама жизнь невозможна без памяти о неких абсолютах. Память – вообще ключевая категория в художественном мире Титова: его герои постоянно что-то вспоминают, даже их профессия может иметь концептуальное значение (Кузнецов – археолог, «творец» памяти). Постоянно несут его герои память об исконном мужском начале – быть надеждой и опорой, рыцарем, защитником. Однако жизнь заметно перекраивает этот традиционный кодекс мужественности. Так новелла «Мужчина» из цикла «Фрагменты» заставляет вспомнить о знаменитом хемингуэвском мотиве «победы в поражении», когда проявить слабость с точки зрения традиционных представлений о мужской чести и достоинстве требует большего мужества и силы воли, чем механически соответствовать этому затертому кодексу. Герой

новеллы отказывается от мести за изнасилованную жену, хотя «рука бы у него не дрогнула». Однако компромисс, на который идет Петр и который причиняет ему мучительные страдания, оказывается весомей ходульной бескомпромиссности, красивой только в теории да в рыцарских сагах, но непригодной для бесконечно сложной и страшной человеческой жизни. Счастье и покой своей семьи Петр оплачивает тем, что отдает свою жену другому. Пусть не в прямом смысле, как герой хемингуэевской «Фиесты» Джек Барнс, а «лишь» дает ей повод полюбить другого, но для мужчины это все равно невыносимо. Так, причиной мучений Петра становится тот самый этический максимализм, закаленный непосредственной жизненной ситуацией, о котором говорилось выше. Однако, в отличие от новелл сборника «Наконечник» здесь нет и тени юмора или иронии, только предельно обнаженный, заостренный и эмоционально концентрированный поток сознания человека, находящегося в экстремальной ситуации, требующей выбора, притом, что любой из вариантов обрекает на безысходную боль.

«Мужчина», как и новелла «Портрет» являются шедеврами титовского психологизма. Здесь он предстает в наиболее концентрированном и законченном виде. В «Портрете» дана анатомия творящего сознания художника, с прустовской пристальностью выписан механизм воспоминания, напряженного потока цепляющихся друг за друга ассоциаций, гармонизирующих и одухотворяющих внешнюю реальность, обретающую в процессе «творения памятью» истинную ценность и целостность. В едином, пластичном процессе творчества объединяются и Наполеон, и Колчак, и 18 брюмера, и запах тюльпанов. Гармония соединения всего со всем, лежащая в основе мироздания оказывается хрупкой и гибнет от столкновения с чреватой гибельностью жизнью. Но эта гармония остается бессмертной, ибо память художника, создавшего портрет женщины переходит в память о нем этой женщины, которая «обязательно придет посидеть за его кроватью, когда начнет попахивать тюльпанами, ведь это ее любимые цветы». Благодаря памяти жизнь оказывается неостановима, а гармония ненарушима. Память — не только гарант непрерывности бытия, но и этический критерий, проводящий границу между «подлинными» и «ненастоящими», утратившими сначала свою фамилию, а потом и память о тех, кто дал им новую и потерявших вместе с памятью человеческий облик, ставших прислужниками

дьявола и убийцами. Наименования «подлинные» и «ненастоящие» по ходу новеллы «Деревня за горой» из различительных ярлыков превращаются в коренные определения состоятельности личности, выявляемой через ее отношение к памяти. Вообще в цикле «Фрагменты» наиболее явно выражает себя онтологический слой творчества Титова – установка на поиск неких универсалий бытия, на прозрение в частном – общего, в кусочке отдельной жизни сути самой Жизни, ведь «волокно» из которого сплетаются многообразные судьбы имеет один и тот же состав, ключевым компонентом которого является память – творческая, историческая, мифологическая, метафизическая...

Особого рода мир предстает в «Старогрузинских новеллах». Замкнутое пространство нескольких кавказских деревень, отделенных от цивилизации горами, которые «раньше от турок спасали, а теперь телевизор смотреть мешают», имеет узнаваемые черты, но в то же время предстает неким Космосом, где люди живут в единстве с миром, с природой, с самими собой. Элементы фарса, буффонады, гротеска (буйволы, висящие на груше, например), проявляющие себя в этом мире, делают его еще более притягательным, ибо люди здесь живут полнокровно, легко, живут «вплотную» с жизнью. Симпатична их наивность и простодушие: они буквально воспринимают слова Сталина про «локомотив истории» как угрозу железнодорожной диверсии, проверяют теорию Дарвина, пожив несколько недель в лесу и ожидая появления хвоста. Постоянно проявляют они смекалку и живость ума: так, например, ловят новоявленного разбойника Вора Безродного, пригласив его на свадьбу в дом, который по местоположению относится сразу к двум деревням. Они относятся к жизни стихийно, непосредственно. А главное – они чтят обычаи предков и несут в себе память о них: каждый отмечен каким-то «знаком», свидетельствующем о легендарном прошлом. Даже после смерти они не разрывают единство со своим домом, сгорая и смешиваясь с его золой («Зола наша»). Гармоничность миропорядка здесь поистине мифологична – все связано со всем, вселенная монолитна: глина, из которой рождается человек, является и «луной на том небе, где зреет вино», приобретая поистине демиургический статус. По-мифологически все вокруг людей одушевлено и одухотворено: ветхий дом «схвачен радикулитом», медведь разговаривает по-человечьи. Жизнь здесь овееяна атмосферой легкого, светлого, юмора –

лирически трогательного, как любовь мальчика Мишико к корове Маисе, ради которой он готов даже сражаться с медведем («Медведь»). Эти новеллы учат добру и приятию жизни. Именно сами новеллы, а не автор, которому нет здесь необходимости выступать в роли мудрого повествователя и который становится одним из героев — рассказчиком, еще раз подчеркивая целостность бытия, данного в этих новеллах.

Так через мучительное самоопределение перед лицом повседневной трагедийности жизни, через мужественное приятие собственной слабости («Мужчина»), через формирование чести и памяти Титов приходит к уравниванию человека и мироздания, к нерасторжимому сплаву Быта и Бытия в едином потоке Жизни.

Роман «Одинокое мое счастье» концентрирует все основные темы, мотивы и стилевые особенности титовских новелл. Это является показателем монолитности художественного мира писателя. Повествование ведется от лица главного героя — Бориса Алексеевича Норина. Это знакомый уже нам тип человека в чем-то нелепого, но безмерно притягательного и симпатичного. Он сам определяет коренным свойством своего характера «неразделимость правильности и глупости». То главное, что вызывает нашу симпатию к нему, выявляется уже с первых страниц романа — это врожденное, природное чувство чести и честности. Поступок, описанный в первых двух абзацах, объясняет единый фундамент и одиночества Норина и его счастья — способность не очерстветь душой, не поддаваться озлоблению в жестокой, полной бед и трагедий жизни. Норин отказывается выполнить приказ расстрелять аджарские селения и тем самым, практически ставит крест на своей блестяще развивавшейся и приближавшейся к пику военной карьере. Причем, впоследствии люди, в которых он отказался стрелять, чуть не убили его, а приказ все равно был исполнен другим человеком. Однако для Норина этот отказ был принципиален. Этот поступок является как бы инвариантом норинского, благородства, постоянно проявляющегося по ходу романа в ряде других, более локальных действий героя. Он мотивирует сюжетное развитие романа и сразу же демонстрирует нам ядро личности героя — его благородство.

Показательно, что в высшей мере склонный к саморефлексии, анализирующий мельчайший свой поступок или слово с точки зрения его глубинных мотивов

и возможных последствий Норин, отказ выполнить приказ объясняет просто: «Я просто был уверен, что мне другим способом поступить было не предназначено». Это подчеркивает именно глубинный, врожденный характер норинского благородства. Еще в детстве формируется у героя неприятие всего половинчатого (даже название «полубатальон» кажется ему оскорбительным, отвращение ко всякого рода подлости и предательству (случай с доносом Махеева), «репутации» и карьеризму, неприязнь к пафосным речам, полным «сусальности и лжи», органическое неумение ненавидеть, чуткость к людям, к их эмоциональному состоянию, нравственный максимализм и гипертрофированная совесть.

Норин чужд всяческим ритуалам и формотворчеству (недаром так обыденно и скомканно проходит для него церемония вручения Георгиевского креста). Он внимателен к любым, даже мельчайшим проявлениям живой жизни, сложность и насыщенность которой он несет в себе. Понимая многогранность человеческого бытия, Норин чужд любого спрямления и абсолютизации, ему, например, претит объяснение жизни одними лишь экономическими законами, с которым он сталкивается в разговоре с одним из героев. Будучи личностью парадоксальной, Норин, одновременно предстает и рефлексирующим героем и человеком действия. Недаром ему так симпатичен Лева Пустотин, также соединяющий в себе вальяжность и активную деятельность. Причем и то и другое явлены в Норине предельно – рефлексия глубока и мучительна, а действия (особенно в бою) осмыслены, отточены, концентрированы. Бессмысленное, бесполезное действие (например, беготня Беклемищева) вызывают у него раздражение и отвращение. Он может сколько угодно сомневаться по, ничтожному вроде бы поводу, но в бою уверен в своей правоте, даже когда никто его не поддерживает.

Крепко усвоив с детства поговорку «Одна голова не бедна, а и бедна – так одна», Норин культивирует в себе именно «самостоянье», умение думать своей головой. Этим предопределяется не только его поступки и решения, но и во многом – его одиночество, трудность, с которой он порой «вписывается» в общую жизнь. Он четко разграничивает «чистое» и «нечистое» страдание, красоту и «красивость», «декадентскость». Не случайно самой сильной любовью Норина становится шестилетняя Ражита с ее детской чистотой и непосредственностью, ту же чистоту он чувствует и в мудрых, спокойных словах княгини Анеты, к ней же

стремится и сам. Подкупает обостренное до предела нежелание Норина обижать людей, делать кому-то зло. Это качество доведено в нем до такого предела, что постоянно провоцирует его на страдания. Показательно, что отказавшись от приказа, Норин осложнил карьеру брата Саши. Однако он даже не задумывается, что в тупиковой ситуации всего лишь выбрал из двух зол меньшее, он мучается, что лишил брата счастья, казнит себя за это, расценивает свой поступок как преступление! И это при том, что брат постоянно издевается над ним, относится к нему с уничижительной иронией. Позднее Норин поймет болезненный характер этой иронии, увидит Сашу «старым одиноким человеком» и начнет испытывать к брату жалость и готовность «принять от него все». На ту полноту, с которой Норин внутренне обнажается в романе, способен только человек, у которого нет грязи за душой. Однако наряду с этими высокими качествами характера Норина отличает и типичная для героев Титова «угловатость», «неправильность», неразрывно связанная с его врожденными самоанализом, доскональностью которого иногда доводится до комизма, горячечными душевными метаниями. Эта чудаковатость делает образ героя особенно близким и человечным, ведь без нее он выглядел бы просто рыцарем без страха и упрека. А так, по словам своего друга Раджаба, Норин «каждую минуту ставит себя так, что с ним впору выяснять отношения на поединке». Однако, невольно обидев кого-то, Норин испытывает от этого буквально адские страдания, даже если обида ничтожна.

Оголенность души приводит к тому, что Норин постоянно себя ненавидит, представляет себя «букой, монстром, отравляющим людям жизнь». Долго злиться он не может («Я знал, что злое чувство мое недолго»), поэтому злость его почти всегда комична, за исключением случаев, когда он, действительно, выведен из себя. Однако во время боя Норин сосредоточен и профессионален предельно. Война – это его жизнь, это то, что придает ей целостность и осмысленность. Храбрость, порой безрассудная, проявляемая Нориным на войне не выглядит пустым бравированием: так он, рискуя каждую минуту быть подстреленным четниками, отказывается от конвоя не из хвастовства своей удалью, а потому, что чувствует его чужеродность, излишность и бесполезность. В динамике боя Норин ощущает «не красоту смертельной опасности, переходящей в декадентскость, а подлинную красоту», настолько сильную, что она переполняет его.

Норин не представляет своей жизни без военной службы: «Я войну принял сразу же. Ведь именно к ней я готовил себя. И с ней я забыл обо всем, что ее не касалось...» Во время Сарыкамьшского боя, постоянные воспоминания о котором будут преследовать Норина неотступно, он чувствует слитность с жизнью, уплотнение времени: «Ничего такого, что не походило бы на жизнь не было. А жизнью было лишь то, что было вокруг меня, мне сейчас была минута и ее мне хватало для жизни». Та же концентрация охватывает Норина и во время боя с четниками: «Все не относящееся к бою от меня ушло... У меня не было ни прошлого ни будущего... Мне было легко и свободно... Я был полностью схвачен этой жизнью. Смерть в ней была совершенно естественной, даже неизбежной или, того более, — необходимой. Я ощущал ее движение рядом со мной. Она... меня от чего-то освобождала». Он, буквально, растворяется в общем потоке бытия: «Меня во мне не ставало».

Благородство Норина как бы изначально, априорно и абсолютно, оно не определяется узкой конкретикой и потому никогда не кажется позой. Слово «стыдно», пожалуй самое частотное в его бесконечных и не в меру критичных самоанализах. Ему стыдно за новый френч, когда его друзья в потертом обмундировании, за свой орден, за ссору с Шерманом, стыдно за прежний стыд – за все, что угодно. Стыдиться Норин начинает, имея для этого хотя бы малейшие основания, причем часто стыд за конкретный поступок перерастает в стыд за всю жизнь, в самобичевание, как в случае стычки с князем. Но эта гипертрофированная, казалось бы, стыдливость является гарантом истинности избранного героем пути. Он постоянно помнит о Боге, ждет наказания от него и это напряжение не дает ему размякнуть, снизить к себе требования.

Так, в госпитале, он чувствует себя предателем только потому, что счастливей своего соседа, у которого ампутированы обе ноги, испытывает стыд за свое выздоровление и даже мысленно «дарит» соседу свою любимую, причем от этого акта «дарения» зависит метафизическая жизнь Натальи. Его счастье постоянно колеблется в зависимости от счастья других людей — в большинстве своем хороших, ибо, у Норина, по собственному признанию, «не было обычая иметь дело со злыми людьми». Норин порой доводит это ощущение до таких крайностей, что ставит гибель своих друзей, в которой он совершенно не виноват, в прямую зависимость от знакомства с ним. В норинском благородстве особенно

симпатично какое-то детское простодушие, которое в соединении с мужеством, твердостью и силой воли дает неповторимый рисунок характера. Знаменателен эпизод, когда Норин искренне не может понять предложения дать взятку кондуктору поезда и «непонятого слова «дадите» не может перекрыть даже весь позор поражений русской армии в начале войны. Так же Норин не может поверить, когда на его глазах шестеро головорезов совершают жестокую расправу над беззащитным Махарой. Слишком сильно это противоречит укорененным в нем представлениям о должном и недолжном.

Именно подобные моменты высвечивают нравственные корни норинской личности. Такого рода честность придает Норину ясность мышления и понимания глубинной и простой сущности всего: от человеческих отношений до экономических законов: «Виновных – на виселицу. На их место – добросовестных грамотных патриотов. Вот и весь экономический закон на время войны». Патриотизм Норина тоже не «квасной»: «За мной стояла моя империя. По мне об этой империи судили». Он постоянно чувствует гордость и ответственность за выпавшую ему долю служить Отечеству, непоколебимую уверенность, что «ничего иного не надо», кроме как «любить свое государство и тем быть удовлетворенным». На службе Норин чувствует себя «терпеливым деятельным и неустанным», он максимально сконцентрирован на «точном исполнении задач» и чувствует абсолютное единство со своими боевыми товарищами: «Я их всех любил. Я спрашивал себя, почему я их люблю. И я отвечал, что люблю их за то, что они из аулов, они из боевой части, они мне сродни». Это единство способствует духовному оздоровлению героя: «Рядом с ними совсем не приходилось мучаться. Рядом с ними я обеспечивал себя здоровой жизнью». Он понимает, что не может «сдержаться от желания службы, от желания хотя бы на миг сделать что-то полезное».

Главные темы романа – война и любовь. Однажды Норин думает о них, как о двух сторонах пропасти, между которыми страшная пустота небытия, через которую сознание героя постоянно «прыгает» то на один, то на другой край. Они тесно сплетены между собой. Связующим звеном и гарантом целостности бытия здесь, конечно же, опять выступает память.

Роман буквально переполнен воспоминаниями Норина, прошлое постоянно проясняет настоящее. Причем зачастую, Титов пользуется уже знакомым нам по новеллам

механизмом ассоциативного развертывания мысли, за что-то зацепившейся. Часто это происходит на эмоциональной основе. Так пустота, охватившая Норина, когда он прижался к плечу Натальи, тут же обнаруживает тождество с парадоксальной пустотой обладания всем миром, которую он чувствовал в момент первого боя, боль от слов Натальи он представляет как контузию. Иногда воспоминания Норина не имеют четких контуров, предстают как неуловимое настроение, «некое мерцание, зыбкое, сиреневое». Воспоминания вплетаются (сам Норин однажды определяет этот механизм именно как «вплетение») друг в друга, разноцветными нитками создают единый пульсирующий клубок: «Обо всем враз я думал и будто ни о чем не думал».

Некоторые события, люди, предметы, такие, как разгром будаковцев, особенно глубоко западают в память героя, приобретая символическое значение. Снова и снова и зачастую совершенно неожиданно, по каким-то причудливым изворотам сознания Норин возвращается к ним. Мысль героя, словно бумеранг ил и далеко оттянутая и отпущенная резинка, возвращается в исходную точку, которая по мере этих возвращений открывается все глубже и обретает все более важный статус. Этим определяется особая лихорадочно-прерывистая сюжетная целостность романа.

Очень важен эпизод, когда Норин в госпитале понимает глубинный смысл слов своего умирающего соседа о том, что он остался один и ему не с кем вспоминать. Воспоминания сохраняют время и поэтому после кровопролитного боя Норин чувствует себя реально постаревшим на много лет, живущим в «никому теперь не нужном одна тысяча девятьсот семьдесят восьмом году». Титову блестяще удается психологически мотивировать колебания индивидуального времени под воздействием внешних обстоятельств и личных свойств героя. Вся жизнь может собраться в минуту и минута может растянуться на всю жизнь, как это происходит, когда Норин во время боя одновременно узнает о гибели брата и тут же видит смерть Раджаба. Таковы трагические парадоксы войны, на которой люди готовы терять друзей и подчиненных, но не готовы терять оружие, а враг вызывает ненависть тем, что перестал стрелять.

На протяжении романа Норин трижды испытывает чувство любви. Чувство Норина к Наталье Александровне развивается лихорадочно: от ощущения зависимости от нее, до ненависти к ней, до тяжелых сомнений в своей

способности любить, стыда и самоупреков в «мелком, эгоистическом чувстве». Любовь к Наталье — это любовь-страсть, которая, как известно, прогорает достаточно быстро. Это романтизированное драматическое влечение, постоянно перетекающее в отталкивание. В сценах объяснения с Натальей чувствуется некая неестественность, наигранность. Любовь к Ксеничке Ивановне, наоборот, отличается неким бытовизмом и поверхностностью. Норин с подозрительной упертостью убеждает себя, что влюбился в нее, что хочет от нее детей, но подспудно понимает, что просто заставил себя влюбиться, чтобы смягчить мучения, которые доставляют ему мысли о Наталье. Он так и не читает письмо Ксенички Ивановны, а в финале честно признается себе, что все равно не смог бы ее полюбить. Наконец, чувство к девочке Ражите ближе всего к подлинной любви: оно дарит Норину чистоту, легкость, уверенность, а главное — снимает с него проклятие «девятиности лет» — той внутренней старости и опустошенности, которые он ощутил после Сарыкамышского боя. Он чувствует себя обновленным, предвидит конец своей бездомности и неприкаянности. Теперь Норин уже не хочет войны, на которую раньше буквально бежал от Натальи.

Но и эта любовь не свободна от тягостных сомнений выдержит ли он десять лет до совершеннолетия Ражиты. Норин, скорее, полюбил не саму девочку (шестилетнего ребенка!), а ту чистоту, незапятнанность, искренность, которую обнаружил в ней и которая оказалась так сродни устремлениям его собственной благородной души. Уж слишком благоговейно он думает о Ражите, словно не о конкретной девочке, а о некоем бесплотном святом духе, даже боится запятнать ее произнесением имени, называя просто «она». Слишком идеальной выглядит эта любовь. Три совершенно разных женских образа и три различных типа любви даны в романе. И над ними просвечивает некий сверхобраз Любви, сложной и парадоксальной, как война, как сама жизнь. А может дело в том, что и правда, «счастья с женщиной быть не может» и счастье норинское по природе своей — одинокое. Норин не врет, что умеет любить «только навсегда», но доля правды есть и в его многочисленных признаниях в неумении любить. Эти, казалось бы, противоречащие утверждения спокойно объединяются в единстве таинственного и непознаваемого чувства. Кстати, наверно, именно в этом особое очарование внутренних монологов Норина и мастерство Титова-психолога: в динамичном сплаве правды объективной, бытийной,

жизненной с правдой индивидуальной, норинской...

Постоянно находясь в предощущении смерти, Норин обостренно воспринимает свое бытие-в-мире – в едином, монолитном мире, который пронизывает его, особенно остро это экзистенциальное ощущение в моменты близкой смерти: «От близлетящей пули и от того, что знал какую-то Наталью Александровну я испытал настоящий животный страх». Смерть постоянно подспудно присутствует в мыслях героя. Перед боем он анализирует это чувство: «Я ощутил это состояние, когда меня не станет. Оно оказалось естественным, простым, не страшным – столь не страшным, что я более испугался не его, а отсутствия своего страха, будто я прожил долгую, измучившую меня жизнь». В том, что он легко готов «принять свое небытие», кроется не малодушие, но напротив, подлинная внутренняя твердость. Норин никогда не боится боли, главное, чтобы «знание о боли и сама боль были чистыми».

В умении Норина полностью, до мельчайших штрихов ощущать жизнь во всем ее диапазоне от мгновения до вечности, в максимальной концентрированности на своих внутренних переживаниях кроется его лирико-трагедийное одиночество. Не случайно роман называется «Одинокое мое счастье». Норин ни в коей мере не индивидуалист и не эгоцентрик, но рефлексирующий тип сознания зачастую полностью отделяет его от внешней реальности.

Постоянно присутствует в романе и специфический титовский комизм и ирония. Самоирония, мужественная и в то же время легкая усмешка постоянно пронизывает размышления Норина. Много в романе и целиком иронических и комических ситуаций: объяснение героя в любви к Ксеничке Ивановне, сцена в ущелье, где напряженный трагизм ожидания смерти, «корежащая и непреодолимая» истома от ожидания выстрела в спину разрешаются совсем не опасным «выстрелом» спящего санитаря.

Одно из главных достоинств романа – ювелирный, обстоятельный, доскональный, по-хорошему въедливый титовский психологизм, который здесь обилием и характером внутренних монологов, «диалектикой души» обнаруживает близость с психологизмом Толстого. С Толстым Титова вообще роднит многое: и трогательная, но поверхностная юношеская влюбленность героя в Наполеона (вспомним Андрея Болконского) и сама кавказская тематика и некоторые частные приемы, например, остранение (свежий взгляд на привычные вещи) в сцене потери

Нориным невинности или детально данное и замедленное восприятие в сцене ранения вилами, напоминающей похожий эпизод из «Севастопольских рассказов». Особенно хорошо удается писателю показ сознания в экстремальных обстоятельствах, где психологическое напряжение достигает высшей степени и течение мысли становится лихорадочным. Блестящий пример тому, воспоминания очнувшегося в госпитале Норина о том, как он, контуженый, встретил в «сверкающей тишине» гор умирающего турка, голубые глаза которого вызвали в нем целый ворох мотивированных и немотивированных ассоциаций.

Множество замечательных психологических типов выводит Титов в своем романе: это и несчастный, потерянный Саша, и по-азиатски мудрый Раджаб, и жизнерадостный Самойла Васильич с его чисто народным чутьем, сноровистостью и сочным просторечием с неизменной присказкой — «едрическая сила с четырьмя колесами», верные Норину Расковалов и Махара, шепотной Володя, особенно близкий Норину Лева Пустотин, неуклюжий Беклемищев, таинственный в своей внутренней недосказанности сотник Томлин...

Невозможно обойти вниманием этническую тему в романе. Культура, обычаи и национальный колорит кавказских народностей высвечены Титовым, как всегда, ненавязчиво, но подробно. Специфичность эту чувствуют многие герои. «Азия — это Азия» — замечает Саша. А Томлин в самом финале книги поясняет: «В нее подлюю вжиться надо. Вживешься куда — с добром там тебе будет. Не вживешься — пропал». Однако этническое все же второстепенно по отношению к общечеловеческому. И среди русских, и среди чеченцев, и среди турок есть люди хорошие и плохие, злые и добрые...

Последние страницы романа целиком проникнуты трагизмом, не довлеющим, но никогда не дававшим забыть о себе по ходу всего романа (сцена с разрытыми могилами, описание тяжелораненых, символический образ утопленника, нелепо погибшего на глазах Норина и т.д.). Норин попадает в плен, его жестоко избивают и распинают на перекладине, чудом выжив, он узнает о том, что Ражиту вместе со всей семьей зарезали. Это апофеоз одиночества Норина, когда он испытывает абсолютную пустоту и все кажется ему ложью. Но — надо жить дальше и завершающая роман фраза Норина, обращенная к Томлину, с которым он связан, прежде всего, через память о погибшем брате свидетельствует о продолжении жизни, которая не

заканчивается пока рядом остаются родные, верные, честные люди.

Проза Титова многослойна и требует внимательного филологического взгляда, гораздо более пристального, чем предпринятый в данной рецензии. «Синтетичность эмоции в прозе Титова», «Категория памяти и механизм воспроизведения воспоминаний», «Сказовое слово Титова», «Титовская мифопоэтика». «Этническая и гендерная проблематика в прозе Титова», «Язык как материал и сюжет титовской прозы», «Проблема нравственного стержня личности в прозе Титова», «Титовские чудики» - это только малая часть тех аспектов, которые могут и должны быть изучены. Остается только вслед за А. Доватурской – автором замечательной рецензии на двухтомник – пожалеть о малом тираже книги...

Множество человеческих судеб – разных и похожих – открывает нам проза Арсена Титова. Но главное значение этих произведений я вижу в том, что они призывают нас к добру, стойкости, глубине познания себя и мира, ответственности за собственную жизнь и жизнь других. Эти общие, казалось бы, слова перестают быть таковыми, когда ловишь пульс титовской прозы и начинаешь понимать, как необходимо выработать в себе нравственный максимализм и соответствовать ему во всех моментах жизни – жизни в «прекрасном и яростном мире» (Платонов), жизни, трагизм которой неизбежен, но преодолим, в первую очередь, за счет внутреннего стоицизма личности. Одиночество титовских героев – одиночество сущностное, экзистенциальное и «бремя» этого одиночества оборачивается свободой – свободой быть самим собой. Титов, как любой крупный писатель, не дает прописных истин, но с потрясающей художественной деликатностью, психологическим чутьем и стилевым изяществом позволяет нам осознать и почувствовать тяжесть и красоту жизни по законам добра, справедливости и честности – честности, прежде всего, перед самим собой. Так реализм Титова, остающийся в основных своих чертах классическим, продолжает великие гуманистические традиции русской литературы.

РЕЦЕНЗИЯ

Нина ЯГОДИНЦЕВА

ДЛЯ ПРОЦВЕТЕНИЯ ОТЕЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ

Александр Кердан. Крест командора.
Москва, «Вече», 2010. 384 с.

«История учит только тому, что она ничему не учит», — говорят с горечью во времена великих перемен. Ведь именно в такие времена за хаотической повседневностью и игрой мелких страстей труднее всего, но и важнее всего разглядеть главное — для чего мы живём, «куда влечёт нас рок событий», что утрачивает и что обретает народ в большой исторической перспективе.

И только «магический кристалл» литературы даёт нам возможность увидеть через исторический опыт нашу актуальную современность, её злободневные вопросы и, как ни парадоксально это звучит, неизменные во все времена ответы.

Историко-приключенческий роман Александра Кердана «Крест командора» посвящён грандиозному российскому научному и исследовательскому проекту первой половины XVIII века, продвижению государства российского на восток. Роман рисует живописное историческое полотно с множеством героев, психологических и политических обстоятельств, в которых разворачивалась судьба Великой Сибирской (Второй Камчатской) экспедиции Витуса Беринга, датчанина, всю свою жизнь посвятившего служению России.

Многоплановое историческое полотно романа густо населено самыми разными героями: это представители нескольких поколений, различных социальных слоёв, люди многих национальностей. У каждого из них свои интересы и стремления, зачастую противоречивые и противоположенные.

Казалось бы, в этом хаосе совершенно невозможна «результатирующая», какой-то единый вектор общего движения. Но могучая историческая логика развития

государства, «поверх голов», а точнее, поверх судеб действующих лиц, сплетает весь этот хаос в единый пассионарный поток, порыв к новым землям, к расширению границ государства. И даже трагические судьбы участников экспедиции Беринга — а возвратились из неё немногие, — обретают в исторической перспективе высокий жертвенный смысл. Понять и осмыслить это из современников могут лишь единицы, но когда время стирает «случайные черты», остаётся главное — народ и история.

Одним из важнейших достоинств романа можно назвать то, что автор нашёл особую меру реконструкции исторического прошлого. С одной стороны, она погружает нас в достоверные реалии этого сложного периода, с другой — придаёт вполне современную динамику событиям, происходившим в совершенно иных масштабе и темпоритме.

Динамика романа определяется своеобразной «клиповой» композицией, предполагающей мгновенные перемещения авторского внимания в пространстве сюжета. Эта композиция «сгущает» событийный пласт романа и делает его стремительно-современным. Приём для романного полотна достаточно традиционный, вопрос всегда в том, насколько он органичен, а в данном случае автору вполне удаётся сохранить цельность как самого повествования, так и характеров главных героев в их развитии.

Главный герой, Витус Беринг, — фигура на первый взгляд парадоксальная: датчанин, то есть для государства российского иноземец, человек, чувствовавший себя «надёжно и уверенно только на земле»... Но яркое мистическое событие в прологе романа, лаконично описывающем его детство, предопределяет судьбу будущего командора. Спасаясь от издевательств мальчишек-ровесников, в лесу он падает в яму, где в истлевшем тряпье лежит скелет. Витус видит у мертвеца крест, и, преодолевая страх, берёт его. Возвратившись домой, он узнаёт о внезапной смерти отца. А ведь именно его отец всегда хотел, чтобы младший сын непременно стал капитаном...

Так всё и сошлось в его жизни, исполненной служения, а значит — трудов и страданий. Сошлось до того момента, когда он сам в финале романа на диком берегу безвестного острова умирает в яме, выкопанной матросами, чтобы хоть как-то защитить больного капитана от непогоды.

Между знаком судьбы и её итогом — целая жизнь, но мы встречаем Беринга на страницах романа уже в преклонном возрасте. Тридцать лет службы России, за которые он уже «ощутил себя вполне русским». Горькое бремя

государственной службы он несёт терпеливо, и его, Витуса Ионансена, морские служители на «Святом Гаврииле» называли не иначе как «Витязем Ивановичем». За этой игрой созвучий – признание, которое стоит дорогого...

В книге описываются самые разные судьбы иностранцев в России того периода, от обер-камергера двора Ея Императорского Величества Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Бирона до капитана Шпанберга, шпиона, укравшего секретную карту восточного побережья и островов, человека властолюбивого, презирающего непонятный и чуждый ему простой русский народ. Но автор показывает, как устремлённость пассионарной силы «перемалывает» личные противодействия, мелкие карьерные соображения и даже шпионские козни...

Умных и сильных пассионарный порыв русского народа привлекает и вовлекает в себя. Ведь каждая личность стремится вложить свою жизнь в дело великое и достойное, и самое ужасное несчастье для неё – быть растроченной попусту. И здесь очевиден ответ на один из самых болезненных вопросов нашей современной трагедии – русский национальный вопрос. Очевидно, что высокие цели и достойные дела пробуждают дух русского народа и привлекают к служению этим целям других, тех, кто становится со-юзниками, со-братьями. Отсутствие пассионарности отвращает, вызывает презрение и жалость, а зачастую и смертоносную агрессию...

Но наивно было бы полагать, что пассионарность народа есть только лишь стихийное проявление его духовной природы, и подчиняется она каким-то таинственным законам. Сегодня, в информационном обществе, можно прямо говорить и о том, что пассионарность в известной степени управляема, её можно как пламя или возжечь, или погасить.

На эти раздумья наводят многие образы романа «Крест командора» – и в первую очередь один из центральных героев – капитан Алексей Чирков, который ещё двенадцатилетним отроком написал челобитную государю, где просил отослать его «в школу математико и навигационных наук во учение». Сдав экзамен своему государю и кумиру, Петру Алексеевичу, он на всю жизнь избрал «для себя две основы: неослабное чувство долга и вечную напряжённость мысли о вящей пользе Отечества».

Второй (а по сути – самый верный) помощник Беринга в первой Камчатской экспедиции, закончившейся неудачно, во вторую экспедицию он назначен уже первым

помощником капитан-командора, это его команда открывает ранее неизвестный берег — Аляску, и его кораблю суждено возвратиться на родину. Именно он покупает на аукционе вещей погибшего Беринга тот самый католический крест из кипарисового дерева, который когда-то предопределил судьбу командора...

Через всё повествование проходит образ Авраама Дементьева, молодого чиновника Тайной канцелярии, отправленного генералом Ушаковым во вторую экспедицию Беринга с секретной миссией. Дементьев должен быть узнать, кто ворует секретные карты экспедиции и передаёт на Запад. Горькой мудростью звучит строгое предупреждение Ушакова: «Нет в Европе друзей у Отечества нашего... Спокон веку так, с самых незапамятных времён...» Служба, любовь, утраты, испытания — сюжетная линия Дементьева обрывается на Аляске, где он, один из немногих выживших после крушения разведывательного бота, оказывается у индейцев.

Привлекают внимание женские образы романа. В первую очередь — супруга Беринга, Анна Матвеевна, жадная до жизни, до её радостей, любительница фейерверков, женщина предприимчивая и везде умевшая найти свою выгоду — это через неё секретная карта попадает в столицу, в руки европейских шпионов. Её измены многочисленны, её авантюры с казённым имуществом подводят Беринга «под монастырь», но жена и дети всегда остаются для Беринга «тихой гаванью», и он не видит того, чего видеть не хочет...

Другой женский образ, трагический, выписанный мягко и нежно, — Екатерина Ивановна Сурова, дочь морского офицера, невенчанная жена опального Скорнякова-Писарева, волей судьбы оказавшаяся в Сибири и погибшая вместе с неродившимся ещё ребёнком от руки человека, любившего её и не простившего мнимую измену...

Вообще «женская» линия романа, в которой есть и две царствующие особы, — своеобразный эмоционально-действенный контрапункт его, даже когда героини прямо связаны с развитием сюжета. И так же контрапунктом к основному действию в финале становится решение новой императрицы Елизаветы Петровны о полном прекращении Камчатской экспедиции: «Одним росчерком пера она не только похоронила великие замыслы своего покойного родителя, но и перечеркнула беспримерные труды многих тысяч русских и нерусских людей, положивших все силы и здоровье на алтарь служения Отечеству, живота своего не пощадивших, раздвигая границы империи...»

Далее эта историческая линия ведёт к продаже Аляски, постепенному возвышению Америки, а ещё далее — к современности, где тысячелетней России всё настойчивее предлагается учиться у «победителей» экономике, политике, культуре, толерантности и пр. И хочется влед за автором завершить свой читательский отклик словами Антиоха Кантемира, звучащими в финале третьей части романа: «Я искусился в несчастливый век мой, но счастлив тем, что познал моё заблуждение, и я то видел, как праздны и тщетны суть намерения наши в жизни и как бесполезны все искания весёлой и благополучной жизни, когда она зависит от единого произволения Всевышней власти...»

Да, в жизни неразделимо перемешаны высокое и низкое, слава и забвение прихотливо случайны, но есть одно славное бессмертие, вполне реально суждённое нам всем — бессмертие народа, страны, культуры, истории. Примем мы его или отринем — вот это и решается сегодня и всегда.

Авторы журнала *Биографические справки*

БУЙНОСОВА Нина Ивановна родилась в 1945 г. в деревне Брод Каменского района Свердловской области. Автор 3 книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова, Всесоюзной премии Союза журналистов СССР. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Живет в городе Каменске-Уральском Свердловской области.

БУНТОВ Евгений Владимирович. Родился в 1966 г. в поселке Шаля Свердловской области. Автор нескольких книг стихов. Участник войны в Афганистане. Кавалер ордена Красной Звезды. Лауреат песенных конкурсов и литературной премии «Урал промышленный, Урал полярный». Член Союза писателей России. Живет в городе Екатеринбурге.

ДРАТ Александр Иванович родился в 1953 г. в поселке Боровлянка Алтайского края. С 1986 года живет в Екатеринбурге. Член Союза писателей России. Автор 4 поэтических книг и 2 книг прозы, многих песен, написанных на его стихи. Лауреат всесоюзных песенных фестивалей.

ИВАНОВ Герман Владимирович родился в 1940 г. в городе Ревде Свердловской области. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза писателей России. Живет в Екатеринбурге.

КАСИМОВ Евгений Александрович родился в 1954 г. в городе Коркино Челябинской области. Член Союза писателей России, председатель Екатеринбургского отделения этого Союза. Автор нескольких книг прозы и стихотворений. Живёт в Екатеринбурге.

КЕРДАН Александр Борисович родился в 1957 г. в городе Коркино Челябинской области. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Автор 40 книг стихов и прозы. Лауреат Большой литературной премии России, национальной премии имени А.С. Грина и др. Заслуженный работник культуры РФ. Живёт в Екатеринбурге.

КОМАРОВ Константин Маркович родился в 1988 г. в городе Свердловске. В 2011 году на международном совещании молодых писателей в Каменске-Уральском рекомендован к вступлению в Союз российских писателей. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Лауреат нескольких поэтических фестивалей. Живет в городе Екатеринбурге.

КОНЕЦКИЙ Юрий Валерьевич родился в 1947 г. в городе Серове Свердловской области. Член Союза писателей России. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат литературной премии имени Л. Татьянической. Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Екатеринбурге.

КУЛЕШОВА Татьяна Петровна - родилась в 1961 г. в селе Манчаж Свердловской области. Окончила факультет графики Московского заочного университета искусств. Автор нескольких поэтических книг. Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

ОСИПОВ Вадим Вениаминович родился в 1954 г. в Свердловске. Член Союза писателей, заместитель председателя Екатеринбургского отделения СП России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. Автор нескольких книг стихов. Живёт в Екатеринбурге.

ПАПЧЕНКО Александр Иванович родился в 1960 г. в городе Ямполь Украинской ССР. Автор 4 книг прозы и нескольких сценариев для мультфильмов. Лауреат премии Владислава Крапивина и Международного литературного конкурса «Перекресток-2009». Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

РАСТОРГУЕВ Андрей Петрович родился в 1964 г. в Магнитогорске Челябинской области. Член Союза писателей России. Автор 7 книг стихов, переводов и критики. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Государственной премии Республики Коми. Живёт в Екатеринбурге.

РЕШЕТОВ Алексей Леонидович родился в 1937 г. в городе Хабаровске. С 1945 года жил на Урале. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. В 1998- 2002 году жил в Екатеринбурге. Умер в 2002 году.

САХНОВСКИЙ Игорь Федович родился в 1955 г. в городе Орске Оренбургской области. Автор многих книг прозы, лауреат многих литературных премий, переведен на несколько европейских языков. Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

ТИТОВ Арсен Борисович родился в 1948 г. в Бирском районе Башкирской АССР. Сопредседатель Союза российских писателей, председатель правления Екатеринбургского отделения Союза российских писателей, автор 13 книг прозы, лауреат многих литературных премий. Переводчик с грузинского. Живет в Екатеринбурге.

ЧУМАНОВ Александр Николаевич родился в 1950 г. в деревне Борки Тюменской области. Жил в городе Арамиле Свердловской области. Член Союза писателей России и Союза российских писателей. Автор 8 книг стихов и прозы. Лауреат литературных премий имени П.П. Бажова, «Чаша круговая» и др. Умер в 2008 году.

ШАЛОБАЕВ Александр Юрьевич родился в 1962 г. в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Участник войны в Афганистане. Имеет награды. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов. Живёт в селе Колчедан Свердловской области.

ЯГОДИНЦЕВА Нина Александровна родилась в 1962 г. Член Союза писателей России. Кандидат культурологии, доцент. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, премии имени П.П.Бажова, лауреат Литературного конкурса имени К. М. Нефедьева, Литературной премии Уральского федерального округа. Автор семи поэтических книг и книги критики (в соавторстве с А.Расторгуевым). Живёт в г. Челябинске.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Андрей РАСТОРГУЕВ. Литература, ассоциация, судьба	3
--	---

ПОЭЗИЯ

Андрей РАСТОРГУЕВ. Россия	13
Алексей РЕШЕТОВ. Подпираем небосвод	57
Александр ШАЛОБАЕВ. Родине моей	59
Евгений БУНТОВ. Русская душа	60
Вадим ОСИПОВ. Я - русский	89
Герман ИВАНОВ. Поезд «Россия»	91
Александр КЕРДАН. Русское небо	102
Юрий КОНЕЦКИЙ. Старики	115
Александр ДРАТ. Отцовский урок	116
Татьяна КУЛЕШОВА. Одинокое сердце - это просто звезда	117
Нина БУЙНОСОВА . Старая дорога	168

ПРОЗА

Арсен ТИТОВ. Пехота Серега Аксаков	17
Игорь САХНОВСКИЙ. Мальчик певичка и фата-моргана	64
Евгений КАСИМОВ. Парикмахер Яша	94
Александр ЧУМАНОВ. Тавда, Ревда, Салда, Пицунда	109
Александр ПАПЧЕНКО . Лит	120

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр КЕРДАН Быть хозяином на своей земле	170
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Константин КОМАРОВ. «Самостоянье человека - залог величия его»	185
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

Нина ЯГОДИНЦЕВА. Для процветания отеческой земли	200
--	-----

АВТОРЫ ЖУРНАЛА	205
-----------------------------	-----

Литературно-художественный журнал

СЛАВЯНИН

№12

Гл. редактор Л.И. Мачулин

Корректор *А.Н. Балабанова*
Художественный редактор *В.В. Вербицкий*
Вёрстка *А.И. Забродин*

Подписано к печати 29.07.2012. Формат 70x108 1/16. Бумага офсет.
Печать офсет. Гарнитура *PragmaticaCondСТТ*. Усл. печ. л. 27,30. Уч.-изд. л.
27,70. Изд. №1. Зак. №____. Тир. 500 экз.

Учредитель: 000 «Институт Восточно-славянской цивилизации».
61012, Харьков, ул. Полтавский шлях, 9, кв.1, 1А.

Адрес редакции для писем:
а/я 9127, Харьков, 61057, Украина.
Тел./факс (057) 705-27-56
e-mail: editor01@list.ru

Издатель: Мачулин Л.И.
61057, г. Харьков-57, ул. Рымарская, 17, оф.14.
Свидетельство о госрегистрации: серия ХК №125 от 24.11.2004 г.
ISSN 2221-9331